

Иногда мне кажется, что я медленно схожу с ума. А иногда – что уже спятил и даже не заметил этого. Да и можно ли ощутить безумие? Холод – да: он пробирается через одежду, которая не греет, сводит немеющие пальцы и пронизывает до костей. Жажда – да: тебе кажется, что в глотке – песок, и ты готов выпить целое озеро. Отчаяние – да: оно наваливается на тебя тяжёлой, подавляющей лапой и лишает возможности думать. Желание, если остаётся хоть немного сил, одно – поскорее освободиться от этого мрачного, парализующего гнёта, пусть даже ценою собственной жизни, а если сил нет – падать в него, как в колодец, у которого нет ни дна, ни краёв. А безумие? Оно приближается незаметно, и в его появлении нет ничего угрожающего. Ты такой же, как прежде, но вдруг замечаешь, что окружающие смотрят на тебя с недоумённой усмешкой или с брезгливым сочувствием.

На меня с усмешкой не смотрит никто. Когда я вхожу в какое-нибудь общественное заведение, люди опускают глаза, втягивают подбородок в плечи и стараются превратиться в тень – крошечную и неприметную. Я знаю, какая мысль в это мгновение сверлит их мозг: они хотят исчезнуть. Иногда я отвечаю на их ожидание, но только потому, что в данный момент они мне не нужны, а иногда – останавливаюсь напротив них и говорю всего лишь одну фразу: «Прошу следовать за мной». В этих простых четырёх словах нет ничего пугающего, но у тех, кому они адресованы, подкашиваются ноги, мертвеет лицо и в глазах застывает отупляющее оцепенение. Его я вижу и тогда, когда вообще ничего не говорю, а только пересекаюсь с кем-то глазами. Я словно кошмар наяву для всех, кого окружаю.

...Спускаясь по лестнице, слышу разговор между фрау Кауптман, квартирной хозяйкой, и её мужем.

– Ты напрасно отчитала её, – в приглушённых интонациях пожилого, похожего на сонного сенбернара бюргера слышатся непривычные ноты испуга.

– Она запустила руку в кассу. Я недосчиталась двухсот марок.

– Надо было перетерпеть, смолчать. Эта девка путается с полковником фон Штуком. Как бы она нам не навредила.

– Я – немка, – вижу, как фрау Кауптман вызывающе вздёрнула подбородок. – Мне нечего бояться.

– Лишняя осторожность не помешает, – опуская глаза, проговорил её супруг.

Увидев меня, они невнятно прошамкали приветствие и растворились в углах комнаты. Я вернул фрау Кауптман просьбой о кофе.

Она, не глядя на меня, поставила передо мной поднос с кофейной чашкой, сливочником и сахарницей. Я уточнил, что хочу чёрный кофе. Женщина безропотно унесла сливки.

Кашель – сухой и надрывный – душит её, раздирает лёгкие, колет иголками горло. Она, закрыв рот платком, спешит скрыться за фанерную перегородку, разделяющую бар и подсобное помещение. Я знаю, что увидит фрау Кауптман через мгновение, оторвав скомканный белый прямоугольник от губ и напряжённо всмотревшись в него, – пятнышко крови, расплывающееся между нечётким оттиском бледно-розовой помады. У неё туберкулёз, самая тяжёлая и запущенная форма. И именно он, а не чистейшая арийская раса – причина её непривычной смелости.

«Эта девка путается с полковником фон Штуком...» Путается – лучшего слова для неё и не придумаешь. Гильда Краузе... Умопомрачительная Гильда Краузе. Богиня, рождённая для жизни шлюхи.

...Ещё совсем недавно я был лакеем в доме её матери – баронессы Бригитты фон Краузе. Моя каморка находилась в подвальном этаже виллы. Это был малюсенький закуток между чуланом, в котором стояли плетёные корзины с грязным бельём, и прачечной; во время стирки запах отсыревшей извести вторгался в мою комнату вместе с грохотом алюминиевых тазов. Я спал, поджав под себя ноги, на топчане, сколоченном из грубых

сосновых досок и накрытом старым ватным одеялом. В углу стоял ржавый железный рукомойник, и там же, у входа, были вбиты два гвоздя: на один из них я вешал свою одежду, на другой – полотенце.

Я вставал с рассветом, в половине пятого, ложился – за полночь. Весь день мой проходил в хозяйственных хлопотах по дому, которые обычно, у других господ, выполняют женщины. Но мой наниматель, генерал фон Краузе, не признавал женскую прислугу. В Первую мировую он командовал армией, и по окончании войны, выйдя в отставку, привыкнув видеть вокруг себя только военных, он и в работники предпочитал нанимать мужчин. Исключением была прачка – прямая и тощая, как кочерга, пожилая крестьянка, жившая в деревне, расположенной в двух милях от поместья. Она приходила дважды в неделю и стирала накопившееся бельё. Развешивая на заднем дворе мокрые господские тряпки, она неизменно гундела себе под нос какой-то одной ей известный хуторской мотив. Однажды я не выдержал и сделал ей замечание: «Вот что, фрау Нольде, вы или пойте, как все нормальные люди, или молчите. От вашего гудения в ушах звенит!» Она посмотрела на меня выцветшими голубыми глазами и тихо уронила: «Хорошо». С тех пор я не слышал от неё ни звука.

После приготовления завтрака я торопился в свою комнату умыться и переодеться – утончённое обоняние баронессы не переносило запахов кухни, которыми пропитывалась моя одежда. Сменив испачканную мукой куртку на серую ливрею с позолоченными пуговицами, на которых выгравирован герб моего хозяина, я, подхватив серебряный поднос с приборами, стремглав мчался сервировать стол. Если бы я пришёл в столовую хотя бы минутой позже того, как большая стрелка часов коснулась девяти, меня ждал бы расчёт.

К тому времени чета фон Краузе уже величественно восседала за столом: генерал – с утренней газетой, баронесса – со своей болонкой. Фройляйн приходила последней. По выражению её лица я угадывал, какая порция страданий ждёт меня сегодня. Если она являлась бледной и невыспавшейся, то мои неприятности начинались тотчас же – всё своё раздражение барышня срывала на мне прямо за завтраком: не туда положил салфетку, не вымыл, как следует, руки после того, как чистил рыбу, подал холодный кофе... Но если, напротив, – в приподнятом настроении, с сияющей улыбкой на губах и с лёгкой игривостью чмокала родителей в щёки, – у меня обрывалось сердце, а в горле увязал комок: в этом случае унижения были особенно изошрёнными.

Что бы она ни выкинула, я сносил всё безропотно, хотя в душе проклинал эту избалованную, самовлюблённую сучку, вообразившую себя пупом земли только потому, что её папаше посчастливилось ограбить пол Европы в то время, когда мой отец выплёвывал под Верденом кровавые ошмётки собственных лёгких, сожжённых отравляющим газом, а старший брат корчился за неведомые ему идеалы кайзера Вильгельма от пулевой раны в живот на полях Восточной Пруссии.

Вызывать меня к себе в ванную во время купания было одной из забав пятнадцатилетней сумасбродки. Делала она это, как правило, во время отсутствия генерала – хозяин часто уезжал по делам в Берлин, и в дни, когда её мать запиралась в своей комнате с приступом мигрени.

Я приходил на настойчивый звонок фройляйн. Остановившись на пороге, опускал глаза, ослеплённый белизной её кожи. Она, выжимая жгут влажных волос, неторопливо, без малейшего стеснения отдавала приказания:

– Полотенце!

Я дрожащими руками подхватывал полотенце и протягивал ей, краем глаза успев скользнуть по округлым очертаниям её тела.

– Я зачем тебя позвала? Чтобы ты стоял, как пень?! Вытри спину, болван!

Я, стараясь выглядеть как можно более невозмутимо, помогал ей обсушиться. Она ни на минуту не переставала оскорблять меня:

– Чем от тебя несёт? Ты был на конюшне? Боже, меня сейчас вырвет! Какой мерзкий запах!.. Как только мой отец терпит в доме такое ничтожество?! Ты глуп, как пробка! Будь моя воля – давно бы выставила тебя вон!.. До чего ты омерзитель с этими прилизанными

бриллиантином волосами! Неужели на этом свете есть хоть одна идиотка, которая захочет поцеловать такую тошнотворную рожу?!..

Я с трудом сдерживался, чтобы не свернуть ей шею. «Интересно, – думал я, – а что если она будто бы невзначай поскользнётся на сверкающем кафеле и разобьёт себе череп?..» Я слышал про такие случаи: мокрый пол, человек поторопился, оступился и... Полиции ни за что меня не заподозрить – никто ведь даже и не предполагает, что я могу здесь бывать. Фройляйн Гильда умеет хранить свои маленькие секреты от посторонних глаз.

Свой протест я осмелился высказать вслух лишь однажды:

– Прошу прощения, фройляйн, но почему бы вам не попросить вашего отца нанять вам горничную?

– На что она мне? – спросила барышня.

– Не совсем удобно, когда при вашем туалете присутствует мужчина.

– Мужчина? – в её глазах мелькнуло искренне изумление. – Ты?..

Выбегая из ванной, я слышал её громкий уничижительный хохот.

Очутившись в своей камерке, я бросился на топчан и что есть сил замолотил по подушке кулаками. Меня трясло, как в лихорадке. Я рычал, словно дикий зверь, вспоминая все самые грязные ругательства, которые только слышал в своей жизни.

В эту минуту на пороге появилась фрау Нольде, спросила, всё ли у меня в порядке. Не говоря ни слова, я зажал ей рот ладонью и втащил в комнату, рывком задрал холщовый подол платья. Фрау Нольде, вытаращив испуганные глаза, вцепилась красными, распаренными пальцами в перекрученную простыню, которую принесла с собой из прачечной. Я видел, как лопаются мелкие мыльные пузырьки на её руках, чувствовал, как влага от простыни попадает мне за ворот и стекает по спине и груди, и повторял – не знаю, мысленно или вслух, – ненавистное имя: «Гильда... Гильда... Гильда...»

Моего имени она не знала. А может быть, делала вид, что не знает. Генерал обращался ко мне всегда только по фамилии, баронесса, когда ей что-то было нужно, – движением глаз или жестом; за всю мою службу она удостоила меня не более чем десятком слов. Гильда подзывала меня к себе презрительным свистом, как собачонку, и при этом иногда добавляла: «Эй, ты!» Если у хозяев в этот момент были гости, на меня оборачивались и разглядывали, словно диковинное насекомое.

Я тысячу раз хотел просить генерала рассчитать меня и тысячу раз готов был уйти куда глаза глядят, не прося никакого расчёта. Если меня и останавливало что-то – это желание отомстить.

Убить Гильду Краузе стало для меня навязчивой идеей. Я бессчётное количество раз прокручивал в голове все детали «несчастливого случая», тщательно продумывал алиби, стараясь предугадать возможные вопросы полицейских, отшлифовывал ответы на них. И в тот момент, когда мой план виделся мне безупречным, я отступал – такое убийство казалось невинной детской шалостью; мне же хотелось обречь её на самые мучительные пытки, чтобы она страдала до последнего вздоха. О, милая фройляйн Гильда, вы даже представить себе не можете, какие жуткие картины рисовало моё воображение!.. Но при таком раскладе я должен был сразу же после её смерти покончить с собой и тем самым навсегда обрубить все концы. Однако суицид в мои планы не входил. К тому же мне хотелось до конца жизни наслаждаться ароматом её агонии – пить ужас из её посеревших губ, купаться в отчаянии её остекленевших глаз. И я тянул с приведением в действие моего приговора. Как выяснилось позже – не напрасно.

Всё началось с появления в поместье приехавшего из Баварии кузена госпожи Бригитты – смазливового двадцатилетнего юноши с меланхоличным выражением лица. Скучающая баронесса оживилась и с горячим рвением принялась устраивать судьбу родственника, который числился в начинающих и подающих большие надежды дарованиях по части живописи. Генерал фон Краузе восторгов супруги по поводу художественного таланта юноши не разделил, денег на устройство выставки в столице не дал и вообще едва ли не в глаза назвал его бездельником, чем вызвал бурное негодование жены.

Размолвки следовали одна за другой. Атмосфера в доме стала буквально наэлектризованной. Ни один обед, за которым собиралась вся семья, не обходился без

скандала. Едва генерал заводил разговор о своём боевом прошлом, который, обычно, у домочадцев не вызывал никаких эмоций, поскольку все давным-давно знали не только, что именно он скажет, но и с какой интонацией, как баронесса ехидно осведомлялась: «Ты гордишься тем, что отправлял людей на бойню?» Кончалось это тем, что генерал швырял в тарелку скомканную салфетку, покидал стол и поспешно уезжал из дома.

Его отлучки стали практически ежедневными. Иногда он, никого не предупреждая, по нескольку дней проводил в Берлине, а по возвращении, уклоняясь от встреч с женой и дочерью, запирался в своём кабинете. Конфликт родителей был фройляйн Гильде только на руку. Она бессовестным образом пользовалась своей никем не контролируемой свободой, чтобы изводить меня. Её испорченная натура была изобретательна на всякие гнусные выдумки. Я, стискивая зубы, ждал предела своему терпению.

В одну из душных июньских ночей генерал вернулся в крайне скверном расположении духа. Он был пьян и сыпал площадной бранью. Прямо с порога он отправился в комнату баронессы. Я в это время подтирал лужу, которую наделала болонка, и слышал каждое слово взбешённого супруга и испуганной женщины. Вскоре из спальни донеслись женские вопли и выстрел. Я тут же побежал к себе, улёгся на топчан и притворился спящим. Спустя несколько минут он спустился в мою каморку и, глядя сквозь меня отсутствующим взглядом, велел следовать за ним.

В спальне баронессы я почувствовал подступивший к горлу спазм – вид разбрызганных по стене мозгов и осколков черепа вызвал тошноту. Он убил только художника, её не тронул – госпожа Бригитта лежала у ножки кровати в глубоком обмороке. Мы перенесли её в библиотеку, положили на диван.

Мне было велено привести в порядок комнату. На всё про всё хозяин дал мне не более десяти минут. Сам – отправился за брезентом и лопатой. Я усердно замыл следы крови на стенах, а окровавленное покрывало отнёс в прачечную и сжёг в тазу – разводить камин побоялся: летом его не топили, и это могло вызвать подозрения.

Когда хозяин вернулся, мы обернули труп с головы до ног, как египетскую мумию, спустились с ним через чёрный ход по лестнице в сад. Генерал на ходу отдавал негромкие приказания: «Когда с этим закончишь, отвезёшь её на вокзал. К тому времени она уже придёт в себя. Пусть катится за океан, с глаз подальше. Гильде говори – уехали оба». И, словно прочитав мои мысли, добавил: «Не беспокойся, она не выдаст». Я хотел спросить: «Кто? Баронесса или...», но не решился.

Зарыв тело молодого человека под старым каштаном, я переоделся и пошёл в кабинет хозяина. Его жена, бледная, с распухшими глазами, сидела, чуть покачиваясь, в кресле. Она показалась мне одурманенной. Генерал, кивая на саквояж, стоявший на столе, отрывисто говорил ей: «Там деньги и документы. Из вещей – только самое необходимое. Всё, что нужно, приобретёшь в дороге. Я дал тебе достаточную сумму на первое время. Сегодня же открою счёт на твоё имя, приедешь в Штаты – купишь дом». Баронесса поискала глазами по сторонам. Я догадался, что она ищет собаку, и спросил хозяина, могу ли принести её. «Разумеется, пусть забирает», – отозвался генерал. Я разыскал болонку и передал женщине. Она, прижав её к сердцу, зарылась носом в кудрявую шерсть и всхлипнула. Через полчаса я отвёз её на вокзал.

Когда на следующее утро фройляйн за завтраком спросила о матери, генерал, не отрывая глаз от газеты и не вынимая сигареты изо рта, холодно ответил так, как мы с ним договорились. Фройляйн Гильда пожалала плечами: «Может, так будет лучше... Надеюсь, когда мама вернётся, вы перестанете цапаться?» Генерал не ответил.

Я пристально посмотрел на Гильду, задавая себе вопрос: слышала ли она ночной выстрел? Наверное, нет, иначе бы обязательно о нём спросила. Её сон не отличался чуткостью. К тому же, будучи дочерью военного, девушка привыкла к звукам пальбы, раздававшейся едва ли не каждый день, когда генерал упражнялся на заднем дворе, стреляя по пустым бутылкам, и они не пугали её.

...С отъездом супруги генерал и вовсе перестал бывать дома. Гильда была предоставлена самой себе. Целями днями она слонялась по вилле в нарядах и драгоценностях, которые нашла в гардеробе матери. Я видел, как она, разговаривая со своим

отражением, принимает перед зеркалами картинные позы, которых насмотрелась в модных журналах. Израсходовав за два дня весь запас материной парфюмерии, она послала меня в город за рюмьями и помадой.

Меня в этот период времени она не особенно донимала. Иногда, правда, делала одно-два язвительных замечания: «Эй, ты! Хочешь, куплю тебе женщину? Думаю, у тебя никогда её не было... Хотя с таким уродом, как ты, я бы не стала делать это ни за какие деньги». Или: «Эй, ты! Я приказываю тебе надеть платье! Такой разваренный судак, как ты, должен носить только платье», – и тут же теряла ко мне интерес.

После того как фрау фон Краузе покинула поместье, я, по распоряжению генерала, закрыл часть пустующих комнат в доме, предварительно накрыв в них чехлами мебель. С этого дня вилла потеряла свой парадный вид, осиротела, а жизнь в ней точно замерла.

Мы с генералом заготовили для Гильды несколько слаженных ответов на случай, если она поинтересуется, пишет ли мать, но девушка о ней не спрашивала. Она будто позабыла о её существовании. Единственный вопрос, который заботил фройляйн, – это когда отец разрешит ей выезжать в Берлин на спортивной машине госпожи Бригитты. Генерал наотрез запретил ей даже думать о таких поездках. «Сейчас такое беспокойное время», – помрачнев, проговорил он.

Мы жили за городом и про беспокойное время ничего не знали. Как островитяне, затерянные среди океанской пучины. До нас не доходили никакие слухи. У нас почти никто не бывал. Из прислуги в доме остались лишь я и фрау Нольде, но и она приходила только на пару часов – постирать и погладить бельё. Если случайно мы сталкивались друг с другом в коридоре, она, ссутулившись, обхватывала костлявыми руками плечи и проходила мимо. Меня бы не удивило известие, что при моём появлении она истово повторяет про себя «Отче наш».

Однажды, во время отсутствия генерала, фройляйн, раздетая и напомаженная, точно кокотка из борделя, потребовала отвезти её в трактир. Я отказался, сославшись на запрет хозяина. Она в бешенстве плюнула мне в лицо. Я, с трудом сдерживаясь, чтобы не ударить её, утёрся рукавом.

«Твоя поганая рожа мне надоела! – орала Гильда, топая ногами. – Убирайся вон! Я увольняю тебя!» Я, стараясь выглядеть как можно более спокойно, объяснил ей, что меня на работу брал господин фон Краузе и, следовательно, только он и может уволить, а его дочь к нашему договору не имеет никакого отношения. «Он тебя вышвырнет, вот увидишь! – угрожала взбесившаяся барышня. – И не просто вышвырнет... Я скажу ему, что ты ко мне приставал, и он пристрелит тебя, как собаку!»

Никогда ещё я не был так близок к тому, чтобы осуществить своё намерение. Стиснув кулаки, я двинулся к ней. Мне помешал оглушительный грохот, донёсшийся со стороны дороги, ведущей в город. Часть горизонта осветило багряное зарево. Гильда от испуга вскрикнула. Схватив девушку за руку, я потащил её в дом и запер в комнате на ключ. Она честила меня последними словами. Проигнорировав её вопли, я сел в автомобиль баронессы и погнал его в город, а уже через пару часов знал, что отныне капризная маленькая дрянь – моя собственность, с которой я могу делать всё, что хочу.

Никогда не забуду выражение её лица, когда я объявил ей об этом. Она смерила меня сверху вниз высокомерным взглядом и постучала пальцем по виску: «Да ты спятил!» Я хотел тотчас же отвесить ей оплеуху, но сдержался – с этим можно подождать, торопиться некуда. Тщательно подбирая слова, пробуя на язык свою ненависть, смакуя её, я медленно, с растяжкой проговорил:

– Вот что, фройляйн, с этого дня забудьте свои барские замашки. Вам будет нелегко отучиться от всего, к чему вы привыкли, но надо очень постараться, – я перешёл на вкрадчивый шёпот, – иначе вы меня рассердите, а этого я вам делать не советую. Упаси вас бог хотя бы раз показать при мне свой гонор.

– Что за чушь?! – закричала она. – Ты, верно, пьян!

Я ударил её кулаком по лицу так, что она отлетела на пару метров и ударилась головой о стену.

– Ай-яй-яй, фройляйн, я же предупредил вас. Почему вы так строптивы? Нужно слушать то, что вам говорят. Внимательно слушать, фройляйн Гильда...

Она смотрела на меня, как на безумца. Я бросил ей платок.

– Утритесь, у вас подбородок в крови.

– Отец убьёт тебя... – донеслось из её угла.

– Ваш отец мёртв, равно как и другие командиры штурмовиков. Он поставил на Эрнста Рёма, а нужно было ставить на рейхсканцлера. Ему не повезло – его лошадь прибежала последней.

– Я не понимаю, о чём ты говоришь...

– А вот это вы напрасно, фройляйн Гильда, в политике нужно разбираться. А для вас – в особенности. И знаете почему? Потому что теперь для вас начинается другая жизнь.

Она сделала ещё одну попытку взбунтоваться, но теперь её наскоки меня не задевали, ведь в её глазах блистали слёзы, а в голосе слышалась дрожь:

– Я не верю, что отец мёртв. Ты лжёшь! Если он мёртв, то где его тело? И где моя мать, которая должна приехать на похороны?

– О, вы соизволили вспомнить о своей матушке! Очень мило. – Я рывком поднял её с пола за руку. – Идёмте, я вам кое-что покажу.

– Пусти, мне больно! – пискнула она, но я и ухом не повёл.

Я выволок её из дома и потащил к старому каштану. Поковырявшись несколько минут лопатой в земле, я, схватив её за шею, притянул к рыхлому чернозёму, из которого торчали скрюченные окостеневшие пальцы.

– Узнаёте перстенёк своего родственничка, а, фройляйн Гильда? Хотите взять на память?

Я ожидал, что с ней разразится истерика, но она не проронила ни слезинки, хотя в глазах её прочно поселился ужас:

– Ты убил маму и Гюнтера? – тихо произнесла она, не сводя глаз с бледной, присыпанной землёй руки.

Она сама подсказала мне отличный ход.

– Ваш отец, не я. Я лишь помог их закопать.

– За что?..

– За что он убил их? Адюльтер, фройляйн Гильда, адюльтер. Знакомо вам это словечко?

Она машинально кивнула головой.

– Я не осуждаю господина фон Краузе. Быть рогоносцем не слишком приятно. А по поводу смерти баронессы я бы на вашем месте не стал особо расстраиваться – никакой матерью она вам не была. Когда ваш отец ворвался в её спальню, где она резвилась со своим недоноском-кузенком, я слышал, что она ему сказала в своё оправдание. Она напомнила ему, что пятнадцать лет назад он привёз ей на воспитание полугодовалого ублюдка, рождённого от хорватской потаскушки, с которой таскался во время походов. То есть вас, фройляйн Гильда.

И быть хорватским ублюдком я бы на вашем месте боялся гораздо больше, чем нищеты и лишений. Не понимаете? Пожалуй, вам стоит как-нибудь послушать выступление нашего фюрера, тогда поймёте... А теперь ступайте в дом и соберите свои вещи, берите только самое необходимое. Через полчаса мы должны уехать. Нам нельзя здесь оставаться.

Она, пребывая в состоянии лёгкого шока, подчинилась без всяких пререканий. Я двинулся в кабинет господина фон Краузе. К сожалению, у меня не было ключей от сейфа, где он хранил ценности, – он всегда носил их при себе, и я вынужден был довольствоваться тем, что найду в ящиках письменного стола и шкафа. Собрав вещи, мы покинули поместье на старенькой, допотопной колымаге, возившей меня в город за продуктами. Спортивную машину баронессы я сжёг в кювете в полумиле от виллы, предварительно позаботившись, чтобы рядом с остовом автомобиля тлели обрывки документов и вещей Гильды.

К вечеру мы уже были в Берлине. Я имел достаточно денег, чтобы снять номер в приличной гостинице, но я не стал этого делать, а выбрал самую скверную ночлежку на окраине города. Очутившись с фройляйн Гильдой в комнате наедине, я несколько минут упивался её замешательством, видя, как она морщится от долетавшего с кухни запаха

прогорклого масла, которым провонял весь дом, и изо всех сил прижимает к ноздрям благоухающий жасмином платочек; как с отвращением разглядывает расплывшиеся жирные пятна на склизких желтоватых обоях, оставленные руками многочисленных постояльцев, как с испугом следит за блестящими чёрными точками на мешковатом, застиранном покрывале, пытаюсь угадать – грязь это или клопы. Видя её нарастающий ужас, во мне крепло дикое животное желание. Не в силах больше сдерживать себя, я набросился на неё и, сломив её сопротивление парой-тройкой крепких затрещин, овладел ею на грязном истоптанном полу. А спустя полчаса заказал в номер бутылку рейнского и бисквиты и с большим аппетитом поужинал. Гильда к еде не притронулась: обхватив колени руками и сжавшись в комок, она тихонько плакала в углу, где я разрешил ей сесть. Я велел ей снять с меня сапоги и лёг спать.

...Иногда я задаю себе вопрос: как могла сложиться моя жизнь, если бы в ней не было Гильды фон Краузе? Был бы я счастлив? Да, наверняка. У меня никогда не было завышенных запросов, с самого детства я привык довольствоваться малым, к чему меня приучил отец, человек суровый и религиозный, у которого на всё, что бы ни уготовила для него или других людей жизнь, была припасена одна лишь фраза – «Suum cuique» – «каждому своё». Мрачная и мудрая истина.

До встречи с Гильдой я знал, что «моё» – это собственная свиноводческая ферма. И тут я был, пожалуй, честолюбивей своего отца, гнувшего спину на хозяина. С пяти лет помогая ему ходить за свиньями, я в совершенстве освоил работу скотника.

Поначалу то, что мне приказывали делать, было несложным и не требовало особых физических усилий: нарвать ботвы на огороде, помыть и очистить корнеплоды. Приготовление болтушки мне долгое время не доверяли. Отец сам рубил заготовленные мною брюкву и картофель, укладывал их в чан, перемешивал с остатками пищи, принесёнными кухаркой из столовой, и заливал водой. Но со временем это стало исключительно моей обязанностью. Причём, не без гордости могу констатировать, я варил корм не только для взрослых особей, но и для молочных поросят, чьё кормление требовало предельной осторожности: малейший промах – и свинка погибла. Я старался как можно чище мыть кормушки, тщательно обрабатывал овощи. Хрюшки, когда я заходил в сарай, встречали меня радостным повизгиванием. Иногда я брал одну из них на руки и целовал в мокрый розовый пяточок, приятно щекочущий лицо своими щетинками... Потом я стал выполнять и более сложные вещи – чистить сарай, менять подстилки. От этой работы у меня с непривычки болели руки, сводило судорогой плечи, ныли колени. Но я очень быстро освоился. Мне даже нравилось, что мои мышцы с каждым днём наливаются стальными желваками. А осознание того, что я делаю что-то полезное, наполняло меня небывалой доселе гордостью.

Несмотря на то, что отец ни разу не похвалил меня, думаю, он был мною доволен – животные, за которыми я ухаживал, всегда были ухоженными, упитанными. Когда отец брал меня на бойню, я с удовольствием глядел на весы, на которых помещались разделанные туши, – прирост живого веса иногда составлял до семидесяти килограммов.

Старик научил меня кое-каким премудростям, которые я хранил в памяти так же ревностно, как девица на выданье бережёт в сундуке своё приданное. Например, он по секрету рассказал мне, что если кормить поросят по особому методу: неделю отрубями, запаренными в кипятке, а неделю – ранетками, которые мы каждый день собирали под яблонями целыми вёдрами, – их сало будет особенно вкусным, с нежной мясной прослойкой; а если, не меняя рацион, держать на чём-то одном, то в итоге получится голимый жир.

Вооружённый такими ценными знаниями и обогащённый более чем десятилетней практикой, я мечтал о фермерском хозяйстве. И эта мысль не казалась мне невозможной и недостижимой, стоило лишь подкопить денег, взять кредит и купить хороший участок. Я уже воочию видел своё подворье: несколько тёплых огороженных помещений с крытыми выгулами. У хозяина, на которого мы с отцом работали, загоны были без крыш – оттого-то после дождя там образовывалась страшная грязь, и если лето бывало дождливым, мы не успевали их чистить. Но на своей ферме я бы такого безобразия не допустил, сделал бы всё по правилам, на совесть, основательно. В свинарниках установил бы стальные перегородки. Пол соорудил так, чтобы получился небольшой уклон в сторону прохода, где устроил бы

жёлоб для сбора жидкости. По опыту знаю – хоть навоз каждый день убираешь и солому с опилками меняешь, а влаги всё равно много бывает. А свинья чистоту любит. Как говорил мой отец, это самое культурное животное, а уж он-то в них толк понимал.

Рядом с сараями я планировал вырыть погреб для хранения овощей, сколотить навес для мешков с зерном – его, конечно, пришлось бы покупать у крестьян, а вот морковь, кукурузу и сахарную свёклу можно выращивать самому. Здесь же думал построить маленькую коптильню – на свете нет ничего вкуснее колбасы с кровью и пахнущего дымком окорока!

Для начала я бы взял на обзаведение одну-две свиноматки, кабанчика и десяток голов на откорм. Отец советовал брать только племенных, породистых. «Свинья без родословной – деньги на ветер», – вот как говорил мой старик, а уж он-то был в таком деле дока. Поскольку свиньи – животные прихотливые, я бы стал приобретать их не в месячном, младенческом возрасте, а значительно повзрослевшими, чтоб уже и вес, и форму успели набрать. Это, правда, дороже выйдет, но зато и мороки меньше, а то чуть понос какой напал – и загнулся поросёнок. Если всё по уму делать, сколько убытков в хозяйстве избежать можно, а если, как иные, швырять марки направо и налево, недолго и по миру пойти... Если б ещё такую жену найти, чтоб мои взгляды разделяла и к транжирству охоты не имела, то и мечтать больше не о чем.

...Гильда фон Краузе... Как ты от всего этого далека...

В юности я подумывал жениться на дочери молочника Иде Диц. Она обладала всеми качествами хорошей жены: была трудолюбива, бережлива, добродетельна. Её сильное большое тело, напоминающее круто замешенное, хорошо сбитое тесто, свидетельствовало об отменном здоровье, выносливости и способности к деторождению. Я не сомневался, что если введу Иду в свой дом хозяйкой, то в нём всегда будут порядок и достаток. Я был уверен, что со временем смогу полюбить её, а она – меня. «Любовь рождается в браке», – говорил отец, и он был прав: если люди в согласии живут бок о бок, ведут совместное хозяйство, трудятся в поте лица, выращивают детей, то Господь им ниспосылает милость свою – благополучие и уверенность в завтрашнем дне. А разве, имея столь прочную почву под ногами, столь основательный стержень, можно быть несчастным?

Ида Диц была спокойной, молчаливой девушкой, что выгодно отличало её от деревенских хохотушек, принимавшихся заливаться по всякому ничтожному поводу. Когда мы изредка встречались в церкви, она, опустив глаза, смущённо проходила мимо. Меня волновал румянец на её щеках, вспыхивающий при моём появлении, – это был добрый знак, он означал, что она стыдлива, – а для девушки это являлось первой заповедью, – и что я ей нравился.

Я не решался с ней заговаривать. Лишь однажды, когда мы оказались совсем рядом и вокруг нас не было никого, спросил:

– Пройдёмся немного?

Она, не поднимая глаз, кивнула. Мы пошли вдоль церковной ограды.

– Ида... Я могу называть вас по имени?

Она ещё ниже опустила голову и прижала к груди молитвенник.

– Ида, я хотел бы вам сказать... Вы очень нравитесь мне... Но если вы любите кого-нибудь другого, скажите мне...

– Что вы! – она впервые за всё время нашего знакомства посмотрела на меня; на её лице читались удивление и испуг. – Как вы могли подумать? У меня никого нет.

– Простите, я не хотел вас обидеть... Я не сомневаюсь, что вы честная девушка, но... Если я вам не по душе...

– Я ничего не имею против вас... Но вы ещё так молоды... и я тоже...

– Нет-нет, не прямо сейчас, может быть, через год, два...

– Ах, это так неожиданно!.. Я, право, не знаю, что и сказать.

У меня пересохло в горле от волнения:

– Вы мне отказываете?

– О, что вы!

– Тогда я могу надеяться?..



– Поговорите с моим отцом, – отозвалась она и, прибавив шагу, присоединилась к группе прихожан, возвращавшихся со службы.

Я смотрел ей вслед и улыбался.

На дворе стоял май 1914 года. Я не помню более тихого и лучезарного месяца. Залитые солнцем холмы, аромат цветущих вдоль дороги ландышей, опушённые нежной зеленью деревья, на которые, тяжело хлопая крыльями, приземлялись аисты, завораживали своей обволакивающей элегической прелестью. Я искренне верил, что буду счастлив с Идой Диц – милой и славной девушкой, захотевшей выйти за меня замуж... Когда я вспоминаю свою жизнь до войны, передо мной встаёт одна и та же картина: ландыши, аисты и девушка с молитвенником.

Возможно, мне только кажется, что я смог бы обрести счастье с Идой Диц. Но как сладостен этот самообман! С каким наслаждением я отдавался ему, когда представлял, что в моей жизни всё могло бы сложиться по-другому!.. Ведь, если справедливо разобрать, то мы любим наших возлюбленных за наши иллюзии. Как только мы лишаемся их – божества сразу же обращаются в глиняных идолов, священные алтари разбиваются, золотые храмы сгорают дотла, а мы становимся атеистами. И как никчёмна наша жизнь без магических чар этого опиума!.. Моя маленькая Ида, благословен тот день и час, когда ты позволила мне надеяться! Если б не ты, я бы считал, что уже при рождении Бог плюнул мне в лицо.

.. Война началась спустя два месяца. Сначала призвали моего старшего брата Рихарда. Я его плохо знал. Он жил отдельно от нас, работал в Дрездене, с семьёй отношения не поддерживал. У нас в доме не было ни одной его фотографии, а лица я его совсем не помню – мне было лет пять, когда отец отправил его в город учиться на плотника. С тех пор от Рихарда не пришло ни одного письма. Что его вынудило забыть о нас, я не знаю. Отец и мать тоже никогда не заводили разговор о нём, будто его и не было вовсе. Лишь когда на Рихарда пришла похоронка, отец произнёс фразу, которая врезалась в мою память на всю жизнь: «Пошёл по дурной дорожке, а умер, как герой... Чудно...» В его словах не было ни гордости, ни скорби – одно удивление.

Мы проводили отца на фронт через месяц после гибели Рихарда. Уезжая, он дал мне только одно напутствие – быть хорошим немцем. «Знаешь ли ты, что значит быть хорошим немцем?» – встряхнув меня за плечи, рявкнул он. Я, затаив дыхание, вытянулся в струнку. Накануне отец крепко выпил, а с похмелья он всегда был не в духе. Стараясь не разозлить его ещё больше, я молчал.

– Быть хорошим немцем – значит выполнять всё, что прикажет Германия! – орал он. – Германия приказывает – ты выполняешь! Запомнил?

– Да, отец, – я трепыхался в его стальных пальцах, как куропатка в силке.

– Не «да», а «так точно», ценю!

– Так точно!

– Германия приказывает – ты выполняешь! Повтори!

– Германия приказывает – я выполняю!

– Громче! Не слышу!

– Германия приказывает – я выполняю!

– Ещё!

– Германия приказывает – я выполняю!

Он отпустил меня – слишком резко, я с трудом удержался на ногах.

– Ты понял, что значит быть хорошим немцем? – спросил он, и в его голосе я ощутил усталость немолодого человека, которому предстоит дальняя и утомительная дорога; от бывшего куража не осталось и следа.

– Так точно! – во всё горло гаркнул я. – Германия приказывает – я выполняю!

– То-то же, – похлопал меня по плечу он.

Это был наш последний разговор. В феврале 1916 года отец погиб при штурме форта Домон во время газовой атаки французов.

Я не стал дожидаться приказа Германии. В июне того же года я удрал из дома, вскочив на подножку воинского эшелона, отправлявшегося на фронт. Меня арестовали на следующей

же станции, допросили и вернули матери. Помню, как она отхлестала меня хворостинной, которой обычно загоняла гусей в клеть, а я, окрысившись, обозвал её бранным словом, а потом, когда она, закрыв глаза передником, расплакалась, выпрашивал прощения. Мать не простила меня, это я знаю точно. Когда её глаза высохли от слёз, она взглянула на меня в упор и холодно, с нажимом проговорила: «Дай Бог тебе на своей шкуре испытать, что значит это слово!»

...Гильда фон Краузе... Проклятьем матери я пригвождён к этой женщине навеки.

Спустя три недели я снова сбежал из дома, и на этот раз удачно, как мне казалось: прибавив себе два года, я поступил в драгунский батальон N-ского полка. Очевидно, ангел-хранитель, огорчённый такой чёрной неблагодарностью со стороны своего легкомысленного подопечного, больше не стал предпринимать попыток уберечь меня от самого себя. Так я по собственной воле очутился в аду.

У меня не осталось ни одного воспоминания, когда бы я испытывал хоть какие-то человеческие чувства. Буквально с первых дней на передовой я перестал ощущать реальность этой жизни. Она казалась мне нескончаемым кошмаром наяву, в котором все: и я, и окружающие – были марионетками, подчинёнными чьей-то неведомой, хаотичной воле. Загибались ли мы от кровавого поноса, кололи ли мы штыком чью-то плоть, ложкой ли выуживали фасолину со дна котелка, вскидывая руки, валились ли замертво с дырой в груди – мы все находились во власти абсурда. Кому жить, кому умирать – не было никакой логики в обоснованности брошенного жребия. В редкие минуты затишья, когда пулемёты прекращали свою сбивчивую трескотню, я смотрел на небо и думал: есть ли ты, Бог? Потом этот вопрос перестал меня занимать. Возможность раздобыть табак или высушить сапоги, промокшие от талого апрельского снега, наличие кусочков сала в сладковатом картофельном вареве – стали важнее, чем философские бредни. Бог развлекается, это ясно, ему скучно видеть меня простым фермером. «Ты привык чистить лопатой навоз, – говорит он мне, – а попробуй-ка во время рукопашного боя всадить её в чью-то хлипкую шею, она и на это сгодится». Я попробовал. Меня наградили Железным крестом. Сколько же деревянных должно было появиться ради того, чтобы он заблестал на моей груди... В то же время я старался не думать о тех, кого убил, и тем более не считал их, как другие солдаты, которые вели счёт загубленным жизням с энтузиазмом Ловеласа, обольстившего очередную неприступную красавицу. Я всего лишь солдат: Германия приказывает – я выполняю. Выполнять то, что приказывает Германия, – значит быть хорошим немцем. Вот и всё, размышлять тут не над чем.

Иногда я задумывался: что, если тот, в кого я целюсь, окажется ловчее меня? И сам себе отвечал: если уж подыхать, то мгновенно – пуф! – и наповал. Я смертельно боялся лазарета, боялся гнить заживо на кровавых простынях. Лучше уж сразу, плакать никто не будет, некому – к тому времени я уже знал, что моя мать почти сразу же после моего бегства из дома скорострительно умерла от чахотки. Думала ли она обо мне в свою последнюю минуту? Скорее всего, нет. Чахоточные обычно угасают в бреду и беспамятстве. Если так, значит, она меня не простила...

То, чего я так опасался, свершилось – с осколочным ранением попал в госпиталь. Но, к счастью, я быстро пошёл на поправку, а потому сравнительно недолго валялся на больничной койке. Ухаживавшая за мной медсестра сказала, что я везунчик. «Рана не страшная, но если бы тебе сразу не ввели сыворотку против столбняка...» – обтирая моё плечо губкой, говорила она; запах земляничного мыла, который источала её кожа, сводил меня с ума. Не поборов искушение, я попытался обнять её за талию здоровой рукой. Она спокойно и равнодушно высвободилась: «Если б не сыворотка, то началось бы заражение». И, завершив перевязку, деловито собрала перекрученные бурые ленты бинтов и зашагала к выходу – невозмутимая, закованная в белую броню халата сестра милосердия, в которой не было ничего милосердного. «Сучка! – злобно подумал я, смотря ей вслед. – Перед офицером не ломалась бы!» Она резко обернулась. Её карие глаза пустили в мою сторону огненные стрелы. Неужели я сказал это вслух?

– Сколько тебе лет, мальчик? – насмешливо проговорила она.

– Девятнадцать.

– Не ври. Шестнадцать, не больше...

– И семь месяцев!

– О, да, семь месяцев – это существенно, – с усмешкой, но уже без издёвки произнесла она и, подойдя ко мне, положила руку на мой лоб, скользнула пальцем по щеке, на которой кое-где пробивались редкие белёсые волоски. – У тебя снова поднялся жар. Сегодня ночью у меня будет дежурство, придётся, видать, за тобой присмотреть...

После выписки из лазарета наш отряд перебросили на Палестинский фронт. В спешке я даже не успел с нею проститься. Но это ночное дежурство я потом ещё долго вспоминал – спустя некоторое время я с ужасом узнал, что заражён венерической болезнью. Моему отчаянию не было предела. Сгорая от стыда, я кинулся за помощью к товарищу. Тот, на секунду оторвав щётку от сапога, уже и без того начищенного ваксой до зеркального блеска, философски изрёк: «Сочувствую. Мою первую девушку тоже звали фройляйн Сифилис», – и посоветовал обратиться к полковому доктору.

Палестина, Месопотамия, Сирия... Череда бесконечно долгих месяцев жесточайшего напряжения и отупляющего безделья. Атаки вперемежку с эпидемиями холеры и малярии, которые выкашивали наши ряды почище любого кровопролитного сражения. И вечный спутник этой проклятой местности – палящее, изнуряющее солнце, в лучах которого мы, точно

в расплавленном олове, варились заживо с утра до ночи. Вот уж воистину ирония судьбы: находясь на Западном фронте и костенея от холода, мы молили Бога лишь об одном – согреться, попав сюда – изнемогаем от жары и снова грозим кулаком небу.

Помимо Господа, в адрес которого мы без устали сыпали бранью, кое-что перепало и нашим турецким союзникам, чьё бездарное командование явилось причиной многих провальных операций и нашего позорного отступления. Мой товарищ Макс называл их не иначе как двуногими животными.

Макс Лауб. Мы сошлись с ним не потому, что почувствовали какую-то обоюдную симпатию и расположение друг к другу. Просто так сложилось, что он всегда был рядом. Когда я впервые попал на линию фронта, он грубо оборвал мои восторженные речи о будущем Великой Германии: «Засунь свой патриотизм знаешь куда?! Суслик хренов!» Он научил меня обматывать каску мешковиной, чтобы отблеск стали не привлёк внимание снайпера. Когда мы пробирались по затопленным грязью траншеям, он неизменно шёл впереди и предупреждал: «Не оступись, здесь яма... Башку пригни, проволока... Осторожно, снаряд!..» Именно он силой удержал меня в блиндаже, когда я во время своего первого боя, облепленный горячими ошмётками мяса и клочками обмундирования одного из убитых снарядом новобранцев, пытался в приступе паники вырваться из окопа.

До чего же он был умный, этот Макс Лауб: начитанный, разбирался в политике, спокойно и уверенно рассуждал о таких вещах, о которых я и не слыхивал. Я буквально заглядывал ему в рот и изо всех сил пытался подражать. Помню, нахватавшись верхушек в одной из прокламаций, которые с недавних пор нам регулярно подбрасывала чья-то неведомая рука, я принялся разглагольствовать о всеобщем тайном избирательном праве, а он меня высмеял: «Избирательное право, говоришь? А где была вся эта тыловая сволочь, все эти Либкнехты и прочая партийная шваль, которая сейчас горланит на каждом углу про наши права, где они были все эти четыре года, пока мы кормили червей в окопах?.. Пока мы здесь подыхали, как собаки, эти мрази жировали, разъезжали по границам и трахали своих потаскух, а теперь они являются такими борцами за наши права и обливают ушатом грязных помоев то, во что мы верили и за что заплатили своими жизнями... Когда они говорят, что война проиграна, что в её продолжении заинтересованы только монархия и капитал, они дают нам понять, что мы толпа одураченных простаков, что мы напрасно воевали и сошли в могилу... Они гаже мародёров! Они превращают павших героев в оболваненных кретинов!.. Будь моя воля, я бы их всех до одного поставил к стенке!»...

Макс погиб уже перед самым окончанием войны, погиб нелепо и совсем не героически – во время привала в одной из захолустных арабских деревушек его укусила гадюка. Это было 27 октября 1918 года. А спустя две недели мы узнали, что империя пала, кайзер Вильгельм II, сложив с себя корону, бежал в Голландию, а наше Отечество было

провозглашено республикой. Нам точно ударили обухом по голове – мы почувствовали себя опустошёнными и обманутыми.

Получив справку об увольнении в запас, я задал себе мучительный и вместе с тем неизбежный вопрос: и что теперь? Я с завистью смотрел на однополчан, торопившихся после демобилизации поскорее уехать домой, – счастливые, у них есть угол, их кто-то ждёт. Я же был совершенно один: без семьи, без средств к существованию, без перспектив на будущее. Случись мне загнуться в сточной канаве, ни одному живому существу не было бы до этого дела.

Деньги, которые мне выдали при увольнении, закончились очень быстро. Я тщетно пытался найти хоть какую-то работу. Брался за всё, на что можно было купить хотя бы кусок хлеба. Работал посыльным, продавцом газет, расклейщиком объявлений, подсобным рабочим, землекопом, грузчиком на железнодорожной станции. Надрываясь, разгружал мешки с цементом и песком по четырнадцать часов в сутки, разделявал говяжьи туши в забойном цеху, за миску супа копал могилы на кладбище. Ночевал на постоялом дворе, когда в кармане звенело хотя бы несколько пфеннингов, когда нет – везде, где придётся: на скамейках в парке, под мостом, в пустых бочках из-под сельди, в хибаре, скроенной из упаковочных материалов.

Пару раз я до того сильно простужался, что начинал харкать кровью. Смерть не пугала, напротив, её приход был бы желанным избавлением от унижительного нищенского прозябания, конца которому я не видел. Но Старуха с косой упорно обходила меня стороной. Измождённый, надломленный организм отчаянно боролся за жизнь – так, словно она имела какую-то ценность, и в итоге побеждал любой недуг. Меня поражала собственная живучесть.

Всё чаще в мою голову лезли назойливые мысли о самоубийстве. По ночам, оставшись наедине с собой, я разматывал грязные тряпки и вытаскивал маузер, привезённый с фронта. С безумной радостью я крутил его в вытянутой руке, поворачивая так и сяк, отводил предохранитель и приставлял к виску. И в тот момент, когда казалось, что я готов это сделать, что-то меня останавливало. Я обзывал себя трусом, решительным жестом запикивал дуло в рот. И снова опускал руки. Когда я всё же решился нажать на курок, пистолет дал осечку. Я лихорадочно пытался повторить попытку – результат был тем же, что и прежде. Всё моё тело сотрясла истерическая дрожь. Я, как ребёнок, катался по полу и плакал навзрыд.

На следующий день я убил человека – ради бумажника и золотых часов. Меня задержали на месте преступления, прямо возле жертвы, которой я размозжил голову бульбжником, судили и дали десять лет тюрьмы.

В исправительном заведении, где я отбывал наказание, я познакомился с Отто Альфартом, репортёром газеты «Фёлькишер беобахтер», попавшим за решётку по приговору мюнхенского суда после провалившегося «пивного путча», в котором он принимал активное участие. От него я впервые узнал о существовании Национал-социалистической рабочей партии, куда при первой же возможности незамедлительно вступил, поскольку её заповеди полностью отвечали моим воззрениям: я истово жаждал скорейшей агонии Веймарской республики, которая превратила меня из честного солдата, сражавшегося за величие Германии, в бродягу и отщепенца. Не терпелось также поквитаться и с моим главным врагом, растащившим по клочкам мою страну своими хищными, алчными лапами, – евреями. Не окажись рядом со мной Отто Альфарта, я бы никогда не узнал, что совершил не грабёж, а акт политического возмездия: того буржуйчика, которого я убил, звали Гершель Опперман, он был евреем. Это стало для меня одновременно индальгенцией, смывшей кровь с рук, и дальнейшим пропуском в партийную жизнь.

Выйдя из тюрьмы, я чувствовал себя спокойно и уверенно: у меня не было ни гроша за душой, но у меня было дело, которому я поклялся быть преданным. С помощью партийных товарищей я устроился работником в поместье генерала фон Краузе, где бывало много видных членов НСДАП. Раз в неделю я встречался с Отто, который к тому времени служил в подразделении Гимmlера, и докладывал ему обо всём, что происходило в доме. Обо всём, кроме Гильды. То, что было связано с ней, касалось лишь меня одного и никого больше.

Впоследствии я неоднократно имел повод похвалить себя за немногословность и сдержанность. После «ночи длинных ножей», во время которой в числе других представителей партийной оппозиции был ликвидирован генерал фон Краузе, я смог сравнительно беспрепятственно похитить девчонку и спрятать её ото всех.

Мне удалось раздобыть для неё фальшивые документы. Аристократка Гильда фон Краузе навсегда перестала существовать. Её новое имя ничем не отличалось от имени какой-нибудь горничной. Мне заблагорассудилось окрестить её Лизхен – так звали подстилку из госпиталя, заразившую меня сифилисом. Фамилию я ей дал свою – Брандт. В глазах закона и людей мы были мужем и женой.

В течение нескольких лет Гильда была моей игрушкой, ночной забавой, постельной принадлежностью. Я сделал всё, чтобы сломить в ней даже малейший намёк на волю. От природы её характер не был податливым и покладистым. Самолюбивая, решительная, она изо всех сил сопротивлялась оказываемому на неё давлению. Пришлось немало потрудиться, прежде чем удалось вымуштровать её сообразно моим вкусам. На моём теле до сих пор имеется шрам от удара ножницами, которыми однажды меня попыталась зарезать эта фурия. С ней было очень непросто.

Поначалу я боялся, что она сбежит и донесёт на меня, поэтому долгое время держал её под замком. Она, точно раненый хищник, попавший в западню, действительно, предпринимала попытки к бегству. И один раз, несмотря на всю мою бдительность, ей это удалось.

Это случилось в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, когда страну сотрясла серия массовых еврейских погромов. Гильды не было больше суток. Я безуспешно разыскивал её по улицам Берлина, наводнённым толпой одичавших граждан, в порыве стихийного безумия разрушающих всё, что попадало им под руку: синагоги, магазинные витрины, жилые дома. Уворачиваясь от летящих со всех сторон камней, спотыкаясь на битом стекле, замирая от угрожающих щелчков ружейных выстрелов, я нагибался над каждым растерзанным телом, пытаясь разглядеть в заплывших, затёкших лицах черты Гильды. Полный самых худших предчувствий я вернулся домой и остолбенел – на диване, неестественно выпрямив спину, скрестив руки на груди, сидела Гильда; на ней был наглухо застёгнутый плащ, кожаные перчатки, завязанная узлом под подбородком косынка. Зрачки её глаз, провалившихся в тёмные глазницы, остекленели... Впоследствии она больше не пыталась обрести свободу, хотя так до конца и не смирилась со своей участью.

Чтобы окончательно сбить с Гильды спесь и показать ей её истинное место, я заставил её наняться в кофейню при гостиничных номерах фрау Кауптман официанткой. Правда, спустя месяц мне пришлось спешно забрать её оттуда – маленькая похотливая тварь, окунувшись в привычную для неё фривольную стихию, начала напропалую таскаться с посетителями заведения. Желая досадить мне, она несколько раз устраивала свои отвратительные случки так, чтобы я становился их невольным свидетелем. Но не ревность и чувство собственника заставили меня поставить на её работе крест – среди её любовников было несколько высокопоставленных офицеров Вермахта, которым не составило бы труда уничтожить меня. К счастью, мстительная глупышка Гильда не была расчётливой интриганкой, а отыгрывалась по-мелкому и поэтому не смогла мне серьёзно навредить.

Чаще всего её ненависть ко мне обращалась против неё самой. Так, однажды она добровольно дала себя изуродовать грязной, малограмотной повитухе, лишь бы очистить своё чрево от моего ребёнка. Я был в ужасе, увидев её истекающее кровью, искромсанное тело. А она, корчась от боли, собирала остатки сил, чтобы оскорблять меня: «Ты думал, я позволю этому плебейскому отродью появиться на свет?! Лучше сдохнуть, чем родить лакея!»...

В Германии согласно особому распоряжению фюрера аборт был под строжайшим запретом. Женщине, решившейся прервать беременность, ровно как и медику, согласившемуся произвести процедуру, грозил трудовой лагерь. Чтобы замести следы этой скверной истории, мне пришлось избавиться от акушерки, а Гильду выхаживать самому, без врачебной помощи.

Иногда, когда нервы сдавали под натиском не прекращающейся ни на один день, изматывающей борьбы, у меня возникало желание освободиться от стальных пут этой разрушительной, противоестественной страсти, державшей меня за глотку вот уже несколько лет. Мысленно я много раз хотел бросить всё и отправиться на фронт – Третьему рейху, развязавшему войну в Европе, нужны были солдаты. Но моя одержимость этой женщиной парализовала решимость. Я оставался подле её юбки, чтобы вновь и вновь мучить её и себя. И не было никаких сил разорвать этот порочный, удушающий нас обоих круг.

Помощь пришла из рук рейхсфюрера Гимmlера, поручившего мне ответственное и важное задание, выполнению которого я посвятил всего себя, так что на Гильду не осталось ни времени, ни сил. Я получил приказ на месте бывших польских казарм в Освенциме организовать концентрационный лагерь. Не тратя времени на прощание с Гильдой, я незамедлительно выехал в Польшу. Поезд, увозивший меня на Восток, должен был навсегда разделить жизнь Гильды и мою. Этого я, во всяком случае, искренне желал.

Куря в купе сигарету за сигаретой, я щурился на мелькавшие за окном ночные патрули, пролетавшие частоколы деревьев, полуразрушенные посёлки, и, выхватывая на стекле контуры собственного отражения, спрашивал себя: «И что теперь? Удастся ли мне обрести покой вдали от неё?» В неясных чертах, расплывавшихся мутными бликами, я, словно гадалка на кофейной гуще, пытался увидеть своё будущее. Разум, выбрав радужную палитру, писал широкими энергичными мазками: мне сорок лет, я старый член партии, на хорошем счету в СС, руководство ценит меня за военные заслуги. Моя характеристика безупречна: я тщателен и точен в исполнении приказаний, способен проявить инициативу и организаторские способности, дисциплинирован и сдержан. Совсем недавно меня произвели в гауптштурмфюреры и доверили строительство секретного объекта; по всей вероятности, в дальнейшем я могу рассчитывать на высокий административный пост в концлагере. Но что-то гадкое, забравшееся в самые глубины подсознания, вещало: большую часть своей жизни я занимался лишь тем, что убивал. Моё ремесло – это хруст костей и предсмертные хрипы в казематах гестапо; я слышу их во сне каждую ночь, и как напуганная шорохом в тёмном углу кельи монашка начинает шёпотом творить молитву, так и я повторяю про себя спасительные, снимающие с меня ответственность лозунги: «Фюрер приказывает – я выполняю», «Воля фюрера – высший закон», «Ради великой цели никакие жертвы не могут быть слишком большими». Я состою в браке с женщиной, которую презираю и которая испытывает отвращение ко мне. Я смертельно устал от всего, что меня окружает, и единственная возможность что-то изменить – это пустить себе пулю в лоб... Чем же ты будешь для меня, Освенцим, – последним шансом обрести себя или некрополем?

Когда я увидел местность, где полагалось разместить лагерь, – растянувшиеся на десятки гектаров непролазные болота, – оценил объём работ, которые необходимо было выполнить, и сопоставил с отпущенными на строительство сроками, у меня засосало под ложечкой: даже если я буду как каторжный трудиться сутками, мне всё равно не справиться. Но выбора не было: или я выполню приказ, или буду казнён за его неисполнение – другого не дано. И я принялся за работу.

Я начал с выселения жителей окрестных деревень Бжезинка, Засоле, Бабице, Буды, Райско, Броцковице, Плавы, Харменже. Когда мероприятия по освобождению территории от местного населения были закончены, приступил к осушению болот и выкорчёвыванию лесного массива. Работа шла в тяжелейших условиях – ситуацию усугубляла вышедшая из берегов Висла; необходимо было срочно сооружать дамбу. Пленные поляки, поступившие в моё распоряжение, работали не разгибая спин день и ночь. Смертность среди них резко возросла – каждый день сотни человек, истощённые изнуряющим графиком и скудным питанием, падали за смертью на строительной площадке. Но это не отразилось на производительности труда – новые ежедневные поставки людского ресурса с лихвой компенсировали потери.

Прибывшая первая партия заключённых получила задание обнести территорию будущего лагеря колючей проволокой, к которой впоследствии был подключён ток, и установить сторожевые вышки. Буквально на следующий день поступила вторая партия.

Узники прибывали каждый день несколькими эшелонами. Старые казармы уже не вмещали всех людей. Пришлось срочно отсортировать их на годных к работе и не годных, которые подлежали уничтожению. Относящиеся к первой группе были брошены на строительство деревянных бараков и бетонных блоков, предназначенных для различных целей: помещений для дезинфекции заключённых и санобработки вещей, лазарета, бункеров для наказания нарушителей дисциплины, газовых камер и крематориев. Возле здания комендатуры решено было расположить несколько хозяйственных строений: оружейный и овощной склады, столовую, баню, прачечную, мастерские, гаражи и конюшни. Поскольку охрана лагеря требовала наличия огромного количества служебных собак, несущих круглосуточную вахту, я также отдал распоряжение о строительстве псарни, вольеров для выгула, специальной кухни и ветеринарной больницы – животные должны были содержаться в приличных санитарно-гигиенических условиях. Параллельно с этим возводились дома для администрации лагеря с проведением телефонной линии, отопления, горячей воды, канализационной системы; возле них разбивались огороды, сады для посадки плодовых деревьев, палисадники с цветочными клумбами.

Очень скоро бывший захолустный городок Освенцим, который мог похвастаться разве что гнилостными испарениями своих болот, превратился в огромный комплекс концлагерей Аушвиц-Биркенау, в котором было всё необходимое для эффективного выполнения тайной спецоперации – массового уничтожения неполноценных рас. За оперативную организацию стратегически важного объекта по обеспечению решения расовой проблемы я был повышен в звании.

На открытие лагеря приехал сам Генрих Гиммлер, который остался доволен увиденным. Пожав мне руку, он поблагодарил меня за выполненную работу и тут же возложил на меня новую миссию – стать комендантом Освенцима. У меня перехватило дыхание от волнения, а рейхсфюрер, как ни в чём не бывало, осведомился о самочувствии фрау Брандт. Побледнев, я отвечал, что тронут его заботой о здоровье моей супруги. «Почему её здесь нет?» – продолжал свои вопросы, от которых я холодел, Гиммлер. Я сказал, что запланировал переезд жены к окончанию строительства. «Немедленно вызовите её. Долг жены – быть рядом с мужем». Я встал навтыяжку: «Так точно, господин рейхсфюрер». Гиммлер сквозь стёкла очков окинул меня острым, пронизывающим взглядом: «Запомните, штурмбанфюрер, семья – это высшая ценность Третьего рейха». «Так точно, господин рейхсфюрер»... Через несколько дней Гильда снова вошла в мою жизнь.

Когда она приехала, я хотел было послать за ней машину на станцию, но, помня наказ рейхсфюрера, встретил лично. Мы обменялись формальным приветствием, механически прикоснулись губами к щеке друг друга под пристальными взорами моего помощника Бауэра и шофёра. Всю дорогу Гильда не проронила ни слова, хотя Бауэр сыпал остротами, пытаясь привлечь её внимание. Я несколько раз перехватывал нескрываемое восхищение в его глазах – он, по всей вероятности, был ошарашен красотой Гильды. Мне же, напротив, она показалась чрезвычайно бледной и уставшей. Её глаза обрамляла нездоровая синева, на переносице и в уголках глаз начали прорезываться тонкие линии. С момента нашей последней встречи она ещё больше похудела и своей фигурой напоминала девочку-подростка. Я с изумлением обнаружил, что она не вызывает во мне никаких эмоций. Это порадовало и одновременно насторожило: я дорого бы дал, чтобы избавиться от своей зависимости от неё, и вместе с тем мой мозг сверлило беспокойство – что если это всего лишь последствия длительного и напряжённого труда?

Я разместил Гильду в отдельной комнате, которую разрешил ей обставить по своему усмотрению. К тому времени на одном из складов скопилась уйма вещей, конфискованных у интернированных поляков и евреев, отправленных в гетто. Я, не понимая ценности всего этого хрустально-фарфорового барахла, но догадываясь, что все эти вещицы стоили немало, раз жиды изо всех сил прятали их, предоставил Гильде самой разбираться с ними. Она действительно знала в них толк – что ни говори, голубая кровь. Очень скоро она нашла применение каждой картине, каждой вазе в нашем доме. Особняк приобрёл недостающий ему блеск. Целыми днями я пропадал в лагере, предоставив Гильде самостоятельно вести

дом. В помощь она получила двух работников из числа заключённых для выполнения тяжёлой физической работы и горничную-польку.

Я в это время выбивался из сил, пытаясь решить проблему, которая стояла передо мной как перед начальником лагеря во всей своей угрожающей остроте. Ежедневно в Освенцим прибывало около десяти эшелонов с пленными со всей оккупированной Европы. К составу прицеплялось порядка пятидесяти, а иногда и более, вагонов, в каждом из которых находилось до ста человек. Треть из них, правда, в результате скученности и нехватки воздуха погибала уже в дороге, но большинство людей были живы, а это требовало площадей для их размещения и продуктов. У меня не было запасов, чтобы кормить такое количество пленных, катастрофически не хватало бараков. В помещение вместимостью в двести человек приходилось селить до пятисот узников; многие из них в результате таких условий содержания оказывались передавленными – каждое утро приходилось освобождать бараки от новых и новых трупов. Вспыхнули массовые эпидемии тифа и цинги.

Я в отчаянии забрасывал руководство рапортами с просьбой направлять часть заключённых в Люблин, Треблинку и Дахау, где были также оборудованы концлагеря, но они оставались без внимания. Наконец из Берлина пришла строжайшая директива: в связи с затянувшейся войной в России, которая дала резкий прирост военнопленных, увеличить процент ликвидации до десяти тысяч единиц в сутки. Я схватился за голову – мои газовые камеры не обладали такой пропускной способностью. К тому же совершенно не решаемым являлся

вопрос

с захоронением: мои подчинённые и так как можно компактнее старались укладывать тела штабелями, не оставляя ни одного драгоценного сантиметра свободного места, но это не спасало ситуацию – все близлежащие земли уже были на сотни раз перерыты и не вмещали новых трупов. Нужно было что-то срочно предпринимать.

Мы с Бауэром ежедневно проводили до десяти экспериментов, пытаясь определить, что нам позволит увеличить производительность. Приходилось загонять евреев в бункер и наблюдать, как быстро на них действуют выхлопные газы, подававшиеся из нескольких грузовиков. Бауэр предложил применить взрывчатку, но результат нас обоих разочаровал – ненужный шум и слишком много отходов. От расстрела узников тоже пришлось отказаться, поскольку я имел на руках чёткие указания сократить расходы на ликвидацию, а использование патронов в таких масштабах спровоцировало бы резкое удорожание. Я кинулся на поиск инженеров, способных спроектировать крематории большей мощности. Ездил в Эрфурт, чтобы в фирме «Топф и братья» оформить заказ на производство гигантских печей для сжигания. Беседовал со специалистами из берлинской научной лаборатории, пытаясь поставить перед ними задачу – найти эффективное и сравнительно дешёвое средство умерщвления. Встречался с владельцами нескольких концернов, чтобы заключить договоры на промышленную переработку останков и использование их в производственных целях.

Все дни я проводил на ногах, забывая иногда даже поесть. Результат не заставил себя ждать – я свалился с приступом язвы желудка и на целую неделю вышел из строя. По настоянию врачей меня прооперировали в одной из столичных клиник. Когда я вернулся домой, меня ждал неприятный сюрприз – оставленный замещать меня на время болезни Бауэр стал моим преемником и в супружеской постели. Мы уладили дело без скандала. Несмотря ни на что, я испытывал симпатию к этому юноше, который вряд ли осмелился бы мне подложить такую свинью по собственной инициативе. Не сомневаюсь, что её проявила именно Гильда – я неоднократно имел возможность изучить гнилую натуру этой женщины вдоль и поперёк и не строил никаких иллюзий на её счёт. Я завизировал написанный без всякого нажима с моей стороны рапорт Бауэра об отставке и ходатайствовал о его переводе в ряды действующей армии. А чтобы раз и навсегда предупредить возможные искушения этой сладострастной мартовской кошки, выбрал себе до того безобразного заместителя, что при виде него у меня самого подкатывала тошнота к горлу – помимо отталкивающей внешности, парень был совершенно незнаком с правилами гигиены. Гильда возненавидела его с первого взгляда и иначе как скотом не называла. Я поздравил себя с кадровой удачей.

Помимо этого, у меня был ещё один повод для радости. Мои мытарства, связанные с поиском недорогого и качественного средства уничтожения, увенчались успехом. Учёные



открыли, что синильная кислота, используемая на кораблях для борьбы с крысами, вырабатывала в воздухе газовые пары, способные в течение нескольких минут умертвить человека. Килограмм кристаллов этого уникального вещества, получившего название «Циклон Б», стоил менее четырёх марок. Я приобрёл несколько коробок с ядовитым газом, действие которого решил немедленно проверить. Результат превзошел все ожидания: буквально через десять минут все двести испытуемых, которых мы с моим новым помощником Фишером отобрали, оказались мертвы. Я воздал хвалу небу – слава Богу, жизнь потихоньку налаживается! Единственной неприятностью при этом стало неожиданное открытие – Фишер оказался настоящим садистом. В отличие от меня, которого интересовала лишь техническая сторона вопроса, а именно – выигрыш во времени при ликвидации, – он с удовольствием разглядывал через смотровое окошко конвульсии жертв, а потом, когда уже всё было кончено, заходил в зал и подолгу вглядывался в искажённые предсмертной судорогой лица. Я искренне недоумевал: на что там можно любоваться? Смертельный исход наших подопечных, как правило, сопровождался испражнениями и рвотой – в этом что, есть какая-то эстетика? Нет, я решительно не понимал этого Фишера и даже воспротивился его идее отравлять людей обнажёнными. Я догадывался, по какой причине ему понадобилось их раздевать, – его извращённая природа жаждала наготы. Но он убедил меня, что в противном случае запачкаются вещи и придётся тратить дополнительные финансовые ресурсы на их дальнейшую санобработку. К тому же не всегда удавалось оперативно снять одежду с умерщвлённых, а из-за наступавшего трупного окоченения сделать это без повреждения вещей было практически невозможно. В конечном счёте я признал его правоту – перед смертью в целях экономии денежных средств люди должны были самостоятельно снимать одежду.

Должен признать, этот Фишер, несмотря на всю его гнусную породу, обладал практической и деловой смёткой. В его голове постоянно зрели рационалистические идеи. Например, он подсказал мне, что с обречёнными на ликвидацию будет меньше мороки, если на месте газовой камеры создать имитацию душевой, чтобы снять беспокойство и проявление агрессии с их стороны. Что верно – то верно: как только узники начинали догадываться, что их планируют истребить, поднимали бунты, и их приходилось усмирять с помощью автоматчиков, что, соответственно, опять влекло расходы. Несомненно, задумка с мытьём в бане была хорошей. Я похвалил помощника за ценное предложение и хлопотал о начислении ему премиальных.

Когда в Аушвиц-Биркенау были введены в эксплуатацию четыре новых сверхмощных крематория, дававшие возможность в течение пяти часов уничтожить сразу двенадцать тысяч человек, я и вовсе вздохнул спокойно – при таком оборудовании мы могли, без учёта выходных дней, увеличить производительность до двухсот семидесяти тысяч единиц в месяц. Таким образом, я не только укладывался в рамки отпущенных показателей, но и перевыполнял план на две тысячи единиц. Кроме того, благодаря сотрудничеству с предприятием «Топф и братья», которое наладило производство металлических банок для сбора пепла, мы смогли не только решить проблему утилизации, но и обеспечивать наше сельское хозяйство сравнительно недорогим удобрением. Я имел все основания без ложной скромности гордиться своими успехами. Мои усилия были замечены и должным образом поощрены. Приехавший на осмотр Освенцима инспектор концентрационных лагерей Рудольф Хёсс нашёл его образцовым. А спустя неделю после отправленного мною в Берлин годового статистического отчёта меня представили к государственной награде.

Поводом для огорчения была только Гильда. Все попытки заставить её уважать меня обращались в прах. Она не оценила ни офицерского звания, которое я получил без всякой протекции, ни занимаемой мною высокой должности, ни комфорта, которым я её окружил, ни терпения к её грешкам, на которые не стал бы закрывать глаза ни один мужчина, ни моей преданности, а Бог свидетель – за всё время нашего брака я ни разу не прикоснулся к другой женщине! Она относилась ко мне так, словно я был пустым местом. Она умудрялась презирать меня даже в постели, замирая от наслаждения, которое я ей дарил. Иногда я хотел, чтобы она умерла. Но когда я хотя бы на миг представлял, что её вдруг не станет, понимал – жизнь без неё мне неинтересна.

После того как я смог окончательно упрочить моё положение, у меня появилось время на светские мероприятия, я стал устраивать у себя дома приёмы. Они, правда, не отличались особой помпезностью, всё было очень скромно, к чему обязывало военное время, но среди моих гостей было немало известных особ. В их числе был выдающийся светила науки доктор Йозеф Менгеле. Освенциму выпала честь стать участником антропологических биолого-расовых исследований, которые он проводил. В нашем лагере была оборудована лаборатория, где уважаемый учёный занимался экспериментами. В качестве рабочего анатомического материала он использовал моих заключённых. Когда подумаю, что мне, сыну простого крестьянина, посчастливилось быть полезным столь авторитетному в области медицины человеку, меня охватывает трепет – как знать, может быть когда-нибудь в научных трудах, посвящённых воспроизводству нордической расы, будет упомянуто и моё скромное имя.

Помимо блестящего, отточенного ума, которому я преклонялся, в профессоре Менгеле была и ещё одна черта, приводившая меня в восхищение, – необыкновенная сердечность. Он, прекрасно осознавая сделанный им вклад в науку, совершенно не кичился собственным величием. Ему, казалось, доставляло удовольствие беседовать со мной, человеком, который и подмётки его не стоил, отвечать на наивные вопросы. Я был весь во власти его обаяния.

Также я принимал ещё нескольких учёных, чьи имена являлись гордостью Третьего рейха. Моими частыми гостями были доктора Клауберг и Шуман, занимавшиеся стерилизацией неполноценных рас с целью их дальнейшего использования в качестве рабочей силы без возможности размножения; специалист по изучению действия воздушного давления и экстремально низких температур на организм человека Зигмунд Рашер; ординатор клиники ортопедической хирургии Берлинского университета, проводивший исследования по трансплантации костных тканей, Карл Гебхард; руководитель лаборатории по изучению эффективности новых вакцин, разработанных немецкими фармацевтическими компаниями, профессор медицины Лаутеншлегер. Эти господа приезжали в Освенцим, привлечённые чрезвычайно благоприятными условиями для занятия научной деятельностью, которые я создал. Благодаря мне они были обеспечены самыми лучшими помещениями, а также тщательно отобранным материалом для проведения опытов. При отборе индивидов я всегда присутствовал лично, не доверяя его Фишеру.

С недавних пор мне начало казаться, что мой заместитель слегка мухлюет в этом деле, особенно когда вопрос касался особой женского пола. У доктора Менгеле, когда речь шла об отборе самок, неизменным было условие – только самые красивые из них подлежали экспериментам. Я буквально расшибался в лепёшку, изо всех сил стараясь угодить учёному, и выбирал лучших из лучших: хорошо сложенных, с привлекательными чертами лица. Тупоголовый же Фишер, не понимая того важного значения, которое имели проводимые исследования для науки, был абсолютно глух к просьбам доктора и, приберегая красивых для себя, подсовывал ему кого ни попадя. Я старался воздействовать на нерадивого подчинённого, проводя многочисленные разъяснительные беседы и убеждая, что личные низменные мотивчики не должны быть препятствием на пути тех грандиозных целей, которые преследовал профессор, но все эти разговоры были как о стену горох. Не помогло даже взыскание, которое я ему сделал за халатное исполнение обязанностей. В итоге мне пришлось совсем оградить Фишера от этой работы, что его ни капли не расстроило. И впоследствии я понял, почему: свой отбор он проводил ещё до того, как женщины расселялись по баракам, сразу же после их прибытия в Освенцим, при первом построении. Когда я узнал об этом, то тотчас же принял решение разжаловать Фишера, но руководство не приняло моей просьбы о его отставке – такие высококвалифицированные кадры нужны были рейху.

Устройство вечеров требовало огромных усилий, и поскольку Гильда уже не могла обходиться имеющимися у нас батраками, я выделил ей ещё двух. К тому же пришлось заменить прежних – срок их эксплуатации был недолог: два-три, максимум – пять месяцев. Я предпочитал брать для работы евреев – они были расторопны, почтительны и хорошо понимали язык кнута. Славяне, несмотря на свою выносливость, были слишком тупы и ленивы, плохо подвергались дрессировке и обладали скрытой злопамятностью, которая

прорывалась в них самым неожиданным образом. Надзиратели жаловались, что носители именно этой расы чаще всего становились зачинщиками бунтов. Наш фюрер абсолютно прав, говоря о необходимости полного истребления этой проклятой породы.

Гильда хоть и принимала участие в подготовке званых ужинов, составляя меню, контролируя процесс приготовления блюд и сервировки стола, сама на них не никогда не бывала. Мне было неудобно перед гостями за её невежливое поведение, но я на её присутствии не настаивал, опасаясь повторения скандала, который она учинила в наш первый приём; при одном воспоминании о нём меня начинает колотить дрожь.

Помню, в тот злополучный вечер собралось много народу, присутствовала вся верхушка нашего лагеря. Удалённое от людских глаз местечко Аушвиц-Биркенау было лишено каких-либо увеселительных заведений, поэтому у меня и моих коллег был не слишком богатый выбор развлечений. Все мы жаждали за бокалом вина и приятной музыкой хоть немного отвлечься от повседневной рутины. Накануне я, не присев ни на минутку, целый день провёл в хозяйственных хлопотах: позаботился, чтобы стол был накрыт по высшему разряду, чтобы каждый угол гостиной благоухал живыми цветами; желая сделать гостям сюрприз, пригласил скрипача и пианистку. И ужин действительно удался бы на славу, если б не Гильда.

Весь вечер она подавляла всех присутствующих своим мрачным молчанием. Любые попытки заговорить с ней наталкивались на безмолвную стену отчуждения. Едва кто-то пробовал пошутить, как она бросала на весельчака взгляд такого неприкрытого высокомерия, что тот обрывал себя на полуслове. И вместе с тем я не мог не видеть, что красота Гильды произвела ошеломляющее действие на моих гостей – они как замороженные следили за каждым её жестом, ловили малейшее движение губ. Но Гильда не произносила ни слова, точно немая. Я не сомневался, что она вела себя так из-за наставления, которое я ей дал накануне, – быть полюбезнее с моими сослуживцами. Я давно заметил в Гильде привычку действовать назло. Сначала я приписывал это качество дерзкой юношеской поре и думал, что возраст её образумит, но я ошибался – с годами она становилась всё более своенравной и неуправляемой. Её уже невозможно было запугать, как раньше. При малейшей попытке погладить её против шёрстки она буквально взрывалась, причём её совершенно не заботило, что свидетелями этих безобразных сцен нередко становились мои подчинённые, более того, ей даже нравилось унижать меня в их присутствии и тем самым подрывать мой авторитет в их глазах. Так было и на этот раз. Гильда, презрев все правила приличия, вела себя так, точно была одна в комнате. Я, пытаясь разрядить атмосферу, как мог старался занять гостей, однако нота дискомфорта, которую внесла Гильда, уже оказала своё разлагающее действие – в гостиной витало затаённое напряжение. Один доктор Менгеле, казалось, ничего не замечал. Этот милый человек, не обращая внимания на мою спесивую жену, рассказывал о результатах последнего научного эксперимента. В конце концов ему удалось полностью завладеть аудиторией и нейтрализовать разрушительное влияние Гильды.

– Мы столько месяцев потратили на изыскание быстрого и надежного средства массовой стерилизации, а оно у нас находилось прямо под носом. Ха-ха-ха!.. Мы буквально ходили

по нему, пинали ногами... Старый добрый формалин, кто бы мог подумать... Совсем немного этой дивной субстанции – и через шесть недель гарантированная непроходимость яйцеводов.

Я заметил, как Гильда побледнела.

– И вы вводили его здоровым женщинам?

– О, да! Мои подопытные крольчихи были абсолютно здоровы. Около полусотни крепких нерожавших полеков в возрасте двадцати-тридцати лет...

– Самый оптимальный для беременности возраст, – добавил Клауберг.

– А насколько болезненна эта процедура? – поинтересовалась надзирательница лагеря фрау Кох.

– Болезненна? Ну что вы, ничуть! Хотя у более половины наблюдалось сильное кровотечение, которое привело к коллапсу, но процедура по своей переносимости, я вас уверяю, пустяковая, как удаление аппендикса.

Увидев, как исказилось лицо Гильды, я спешно хотел было послать её на кухню сделать распоряжение прислуге, чтобы принесли фрукты, но не успел; глядя на доктора полными ненависти глазами, она одним духом выпалила:

– Вы искалечили пятьдесят молодых здоровых женщин и рассказываете об этом, как о чём-то выдающемся... будто совершили подвиг...

За столом повисла гнетущая пауза.

У меня вырвался произвольный жест; я едва сдержался, чтобы не назвать её по имени, которое, кроме нас двоих, никто не знал.

– Речь идёт о низшей расе, фрау Брандт, – опомнившись, произнёс доктор.

Гильда, отшвыривая салфетку, вскочила.

– Да вы просто здесь все походили с ума! – и выбежала из-за стола.

Я, извинившись перед гостями, последовал за ней.

Она не успела защёлкнуть на задвижку дверь своей комнаты. Я, ворвавшись вслед за ней, схватив её за плечи у порога, втянул вглубь спальни, затряс, зашипел прямо в лицо:

– Ты что, совсем идиотка?! Ты отдаёшь отчёт в своих действиях?

– Никому в здравом уме не придёт в голову называть врачами этих живодёров...

– Замолчи!

– Ты видел его лицо?.. Видел, какой оно светится радостью?.. Ему доставляет удовольствие истязать людей...

– Тише, прошу тебя...

– Как и тебе!.. О, ты, пожалуй, ещё дашь ему фору... Ему с тобой не тягаться...

Я зажал ей рот ладонью, но она вырвалась.

– Господи, до чего же страшно!.. Кругом одни психопаты...

– Если ты сейчас же не заткнёшь свою пасть, я запру тебя под замок, и ты никогда не выйдешь из этой комнаты или...

Она широко улыбнулась.

– Или что?.. – смеялись даже её глаза, глядевшие в упор на меня. – Я окажусь на месте одной из пациенток добрейшего доктора Менгеле? Ты это хотел сказать?

– Гильда... – простонал я, стискивая виски.

Она, вскинув вперёд руку, перебила не терпящим возражений жестом:

– Оставь свои угрозы, я тебя не боюсь! Можешь делать со мной всё, что хочешь: хоть расстрелять, хоть отдать в лапы этому маньяку, только избавь меня от своей омерзительной рожи!

– «Расстрелять»? – усмехнулся я. – Вижу, вы, фрау Брандт, плохо знакомы с обычаями Освенцима. Ну ничего, мы с вами восполним этот пробел. Завтра я устрою вам небольшую экскурсию. Будьте готовы – в половине девятого я зайду за вами. Доброй ночи, фрау Брандт, желаю вам отлично выспаться.

Я, закрыв двери на ключ, отправился к гостям. В холле мне встретился доктор Менгеле, застёгивавший пуговицы пальто.

– Вы уже покидаете нас, доктор? Хочу попросить прощения за мою жену, право, мне очень жаль, что так вышло.

– Не стоит, Брандт.

– Она никак не может адаптироваться, привыкла совсем к другой жизни: театры, ревью... Ей скучно здесь.

– Хотите совет врача? Вам с женой нужно как можно скорее завести ребёнка. Даю гарантию – приступы истерии как рукой снимет.

Я помрачнел.

– Спасибо за совет, доктор Менгеле, непременно.

– И загляните завтра ко мне в лабораторию, я дам вашей жене успокоительное.

– Благодарю вас, доктор.

– Всего доброго, Брандт.

– До встречи.

Я сдержал своё слово и на следующий же день показал Гильде Освенцим – тот, о котором не имела понятия ни она, ни сотни тысяч других добропорядочных немцев. Сопровождать её не стал, доверив это дело своему заместителю. Она считает меня садистом, что ж, пусть в таком случае узнает, что означает это слово во всей своей неприкрытой наготе – Фишер постарается, можно не сомневаться. Я велел ему показать нашей любознательной посетительнице камеру для удаления золотых зубов, подробно объяснив назначение каждой имеющейся там пилки, каждых щипчиков, «сувенирную лавку», где по заказу наших бравых эсэсовцев изготавливались головы заключённых, высушенные до размера в кулак; наглядно продемонстрировать, что представляет собой процесс ликвидации синильной кислотой, и, конечно же, каптёрку, нашу огромную прожорливую малышку, поглощавшую в день тысячи трупов. Оставив Гильду в обществе Фишера, я спокойно занялся работой. Но не прошло и часа, как мой усердный зам, запыхавшись, появился на пороге кабинета и, щёлкнув каблуками, взволнованно известил, что фрау Брандт потеряла сознание в одной из камер.

После «экскурсии» Гильда шарахалась от меня, как от чумного. Я задавал себе вопрос: надолго ли мне удалось её присмирить? Оказалось, что ненадолго.

Однажды в комендатуру явилась возмущённая фрау Кох, надзиравшая за женским блоком, и обрушила на меня град упрёков:

– Прошу вашего вмешательства, господин штурмбанфюрер! Это просто какое-то безобразие! – могучая грудь фрау Кох грозно колыхалась под гимнастёркой подобно океаническим волнам во время шторма. – Вам хорошо известно, как заинтересованы в наших поставках предприятия по текстильному и кожевенному производству. Я, как ломовая лошадь, денно и ночно тружусь, чтобы обеспечить наших деловых партнёров сырьём, а этот Фишер занимается настоящим вредительством!

– Присядьте, фрау Кох, – я никак не мог взять в толк, о чём говорит эта женщина, – успокойтесь, выпейте стакан воды. И изложите внятно ваши претензии к Фишеру.

Фрау Кох нервно куснула стенку стакана, который я ей протянул, расплескала воду, намочив свою форменную юбку.

– О, господин штурмбанфюрер, то, что делает этот человек, просто безбожно! Я всех сотрудников до единого тысячу раз проинструктировала: заключённых с татуированной кожей не расстреливать в спину! Это же так чудовищно портит материал, наносит такие непоправимые дефекты! Неужели так трудно просто бить по голове или стрелять в шею?! Сколько раз просила Фишера – никакого толку. Вчера он отдал приказ расстрелять партию русских военнопленных с такими чудесными татуировками на теле! Сколько восхитительных абажуров можно было бы изготовить! Татуировки придают такой изысканный декор, никакого сравнения с обычной кожей... Вам ведь понравился томик Шиллера, который я подарила к Рождеству?

Я кивнул.

– Изумительный переплёт, не правда ли? Я мечтала, что смогу преподнести на свадьбу моей милой сестрице Гретхен из Мюнхена пару перчаток для верховой езды, а милому зятю – седло. Они оба страстные наездники. Познакомились полгода назад на ипподроме. И, о господин штурмбанфюрер, это была любовь с первого взгляда! Я прослезилась, когда получила от них приглашение на свадьбу. Мне хотелось сделать этим двум славным голубкам какой-нибудь очаровательный подарок. А этот Фишер поставил на всех моих чаяниях крест!

– Успокойтесь, фрау Кох, – устав от трескотни женщины, проговорил я. – Сегодня же я поговорю с Фишером.

– Да, но что я теперь подарю на свадьбу крошке Гретхен? Чем обрадую зятя? Пустыми руками?

– В Освенциме есть и другие заключённые, помимо тех, что расстрелял Фишер.

– Есть, но не у всех из них татуированная кожа. Эти подлые евреи совершенно не делают татуировок, они только у русских солдат. А к нам русские поступают не часто. На

них специализируется Бухенвальд. Разрешите мне поехать туда в служебную командировку на неделю, чтобы я могла отобрать необходимый материал.

– Нет, фрау Кох, я не могу вас отпустить, мы и так уже за прошлый месяц превысили смету командировочных расходов.

– О, моя бедная Гретхен!

– Хорошо, я позвоню инспектору Хёссу и попрошу, чтобы нам направили большую партию русских.

– Да, но пока придёт эта партия...

– Пленные поступают ежедневно. Русские несут большие потери на Западном фронте.

– Да, но вы забываете, что процесс выделки кожи очень долгий и деликатный. Нужно сначала подвергнуть её химической обработке, а затем высушить на солнце. Пройдёт не одна неделя... А свадьба моей сестры уже двадцать пятого августа!

– Ничем не могу помочь, фрау Кох, придётся подождать. Расходы на поездку в Бухенвальд не предусмотрены статьёй расходов на этот месяц.

– Но, может быть, нам не откажется помочь ваша супруга?

– Что вы имеете в виду?

– Накануне она отобрала для работы по дому одного русского с прекрасной татуированной кожей. Вы бы не могли попросить фрау Брандт обменять его на любого другого из заключённых?

– Фрау Брандт взяла русского? – это было новостью; я ничего не слышал про нового работника.

– Да, садовника. А вы ничего не знали об этом?

– Ах, да... – смутился я под любопытствующим взглядом этой горгоны. – Совсем вылетело из головы... Конечно... жена говорила мне об этом...

– Так вы поговорите с фрау Брандт?

– Не беспокойтесь, поговорю сегодня же.

Вечером, придя домой с работы, я первым делом оглядел жену пристальным, пристрастным взглядом. Она – на редкость умиротворённая и довольная – сидела напротив меня за столом и, глядя в кофейную чашку, помешивала серебряной ложечкой сахар. На её шее, чуть ниже уха, розовело еле приметное пятнышко. Кровь в моих жилах будто смешали с расплавленным свинцом. Стараясь сохранять как можно более отстранённый вид, я задал вопрос, который мучил меня в течение долгого дня:

– Фрау Кох сказала, что ты наняла садовника.

– И что? – серебряная ложечка, выписывающая в чашке огнедышащие круги, на секунду замерла.

– Разве я давал на это согласие?

– А ты полагаешь, что на всё в этом мире нужно твоё согласие? – насмешливо проговорила Гильда. – Воистину прав наш фюрер: «Самомнение и чванство – родные братья глупости и невежества».

– Перестань паясничать!

– Я? А при чём здесь я? Почитай на досуге «Mein Kampf», если, конечно, тебе знакома азбука.

– Где этот русский?

– Не бойся, в твоей постели его нет.

– Мне не до шуток. Я хочу сию же минуту его видеть.

– Не посмотрелся на своей живодёрне за день? Право же, в нём нет ничего особенного: один из миллиона несчастных, попавших в твои мерзкие клешни.

Я кликнул охранника.

– Эрлих, немедленно приведите нового работника!

– Сожжёшь его в камине? – улыбнулась Гильда, скользнув плотоядным взглядом по фигуре удаляющегося выполнять моё приказание молодого эсэсовца.

Меня аж передёрнуло – эта курва не стесняется даже при мне глазеть на мужиков. Надо будет позаботиться о переводе Эрлиха в Майданек. Я инстинктивно шагнул к бару, взял

первую попавшуюся початую бутылку. Наблюдавшая за мной Гильда с нескрываемой злобной радостью следила, как отплясывают лихую тарантеллу мои пальцы.

Ввели русского.

Я поперхнулся глотком коньяка.

Это был здоровенный, под два метра грома с огромными, похожими на две совковые лопаты ручищами, опоясанными чернильными якорями. Узкая полосатая роба на его широченных плечах так и трещала по швам. Остановившись на пороге, он метнул в меня из-под кустистых светлых бровей недобрый взгляд цепких волчьих глаз. Эрлих толкнул его в спину, и русский оказался передо мной лицом к лицу. Наши взгляды скрестились.

Меня поразило спокойствие, с каким смотрел на меня этот недочеловек. Он что, не понимает, что стоит мне шевельнуть пальцем, и его плоть превратится в лоскутки? Но в глазах русского не было и тени страха, одно отстранённое равнодушие, как у скотины, идущей на бойню под плетью погонщика. Воистину – племя рабов! Представив, как эта мразь тискает Гильду, я заскрежетал зубами – мне захотелось предать его такой чудовищной попытке, чтобы он на коленях умолял меня о смерти.

– Какой откормленный боров, – сказал я Эрлиху, – а Красный Крест ещё упрекает нас, что мы морим голодом этих свиней.

– Он выглядит очень упитанным, – подтвердил Эрлих. – Я всегда был уверен, что заключённые всего лишь симулируют крайнюю степень истощённости, чтобы выставить нас изуверами в глазах международных делегаций.

– Это хитрость животного, алчущего поплотней набить себе брюхо. Жрать и спариваться – единственное, на что способен этот славянский сброд. Пока арийцы создавали фундамент всех человеческих творений и, подобно Прометею, несли людям факел культуры и прогресса, эти скоты, давясь кислой отрыжкой в своём грязном хлеву, только и делали, что совокуплялись и размножались, как крысы.

И тут произошло неожиданное – русский заговорил на чистейшем немецком языке:

– Это ты-то, фашистская сволочь, культуру нёс? Да ты сам не вылезал никуда дальше стойла.

– Молчать! – я выхватил из кобуры пистолет.

Гильда вскрикнула. Эрлих несколько раз ударил русского кулаком в живот. Когда тот свалился на пол, я заехал ему ногой по физиономии и не без удовольствия смотрел, как он сплюнул на пол кровавый сгусток.

– Прикажете расстрелять прямо сейчас, господин штурмбанфюрер, или завтра публично повестим перед всем лагерем? – спросил Эрлих.

– Завтра утром доставьте его фрау Кох, – поднимая голову русского носком сапога, проговорил я. – И передайте ей мой приказ – кожу с него содрать живьём. Пусть экзекуция длится как можно дольше. – Я бросил на Гильду торжествующий взгляд. – Мюнхенская родственница фрау Кох получит чудные перчатки. Передайте также, Эрлих, чтобы изготовили пару и для фрау Брандт.

– Слушаюсь, господин штурмбанфюрер.

Я видел, как на лбу моей жены выступили капли пота. Готов поклясться, что в этот момент она вспомнила «сувенирную лавку».

– Уведите!

Эрлих, заломив русскому за спину руки, вывел его за дверь. Гильда, нервно кусая кончик ногтя, провожала их глазами. Заметив, что я наблюдаю за ней, она криво усмехнулась и быстро вышла из комнаты. Мне вспомнились порочные жёны римских патрициев, тайно посещавшие гладиаторов накануне боёв...

На рассвете меня поднял сигнал тревоги. Оказалось, что приговорённый к казни русский ночью совершил побег. На ноги была поставлена вся лагерная охрана. Несколько суток подряд отряды эсэсовцев со служебными овчарками прочёсывали окрестность – безрезультатно. Я готов был рвать и метать, но русский точно в воду канул.

Попытки допросить Гильду ни к чему не привели – мерзавка открыто смеялась мне в лицо: «Тебе ни за что его не поймать – руки коротки!» Когда я пригрозил ей гестапо, где

развязывание языка являлось детской забавой, она невозмутимо заявила: «Кажется, ты забыл, что у меня только одна жизнь. Ты удавишься с досады, если меня убьют». И, язвительно улыбаясь, добавила: «Он был чертовски хорош, этот русский... У него несколько месяцев не было женщины... Он накинулся на меня, как изголодавшийся зверь...»

Я избил Гильду так, что она несколько дней не могла подняться с кровати. И отдал приказ об уничтожении всех заключённых из блока, в котором содержался беглец.

После этой истории Гильда на какое-то время притихла, а потом в неё снова вселился бес. В один прекрасный день она объявила, что не может больше дышать тошнотворным запахом палёного человеческого мяса, который извергали трубы крематориев, и требует немедленно отпустить её в Берлин – «за глотком свежего воздуха». Я, разумеется, отказался – она принимает меня за дурака, если думает, что я не понимаю, для чего ей понадобилась эта поездка. Гильда, чьё коварство не знало границ, не погнушалась сделать шаг, которого я от неё уж никак не ожидал – прикинувшись расхворавшейся, она ввела в заблуждение и завладела доверием осматривавшего её доктора Менгеле. Простодушный профессор, не распознав волчицу в овечьей шкуре, сплясал под её дудку и настоял, чтобы я отпустил Гильду в столицу для лечения. Скрипя зубами, я согласился. Гильда уехала.

Я поклялся, что эта поездка станет для неё последней. Но она опять перехитрила меня. Будучи в столице, Гильда познакомилась с жёнами известных нацистских лидеров, произвела на них самое благоприятное впечатление, а по возвращении в Освенцим – вступила в переписку. Льстивые, лицемерные оды, которые она изливала на страницы своих насквозь фальшивых писем, трогательные знаки внимания и «подарочки от чистого сердца» возымели действие. Когда Гильда вновь собралась в Берлин, а я её не пустил, мне пришло гневное письмо от Магды Геббельс, в котором меня называли варваром, заточившим жену в четырёх стенах подобно восточному деспоту. Последняя строчка письма заставила мою спину и вовсе покрыться испариной: «Всякое противодействие активной деятельности во имя блага немецкого народа есть преступление». Разрази меня гром, если я понимаю, как этой лживой суке удалось убедить фрау Геббельс, что она жаждет заняться политической карьерой! Мне ничего не оставалось делать, как отпустить «яркую партийную активистку» в Берлин.

У меня не было возможности следить за ней лично, поскольку работа требовала моего постоянного присутствия в Аушвиц-Биркенау, но в то же время я счёл, что глупо и неосмотрительно полностью бросать ситуацию на самотёк. Я связался со старым товарищем по партии Отто Альфартом, который в настоящее время занимал один из видных постов в гестапо, и попросил его приглядеть за моей женой. Отто хоть и удивила эта неожиданная просьба, но он не оставил её без внимания.

Спустя какое-то время я получил известие, что Гильда ведёт в столице насыщенную светскую жизнь, появляясь в различных общественных местах в компании молодых офицеров. Особенно часто её видели с майором Бертольдом Шенком фон Штауффенбергом, выходцем из старинного дворянского рода, связанного кровными узами с королевским домом Баден-Вюртемберга. Узнав эту новость, у меня оборвалось сердце, – такого соперника не одолеть. Но я не собирался сдаваться, приняв твёрдое решение застрелить Гильду, а потом себя. Бросив все дела на Фишера, я помчался в Берлин.

В поезде я изо всех сил пытался сосредоточиться, но мысли разбегались, как бильярдные шарики по зелёному сукну. Под размеренный стук колес я наконец смог принять важное для себя решение – не рисковать репутацией, нажитой долгими годами упорного труда, ради гулящей девки, которая не стоила ломаного гроша. И потому изменил план действий. Хоть Гильда и заслужила возмездия, я не стану стрелять в неё, словно обычный бандит. Я найму автомобиль, под видом загородной прогулки выведу его на трассу, где не будет посторонних глаз, и на скорости врежусь в какое-нибудь дерево. Так мне удастся сохранить достоинство даже после смерти. В противном же случае будет расследование: Альфарт даст показания о том, что я подозревал жену в измене, мои коллеги вспомнят о наших ссорах, а ещё, не дай бог, выступит свидетелем её любовник. И тогда на всеобщее обозрение выволокут столько грязного белья, что я и в гробу сгорю со стыда.



Погружённый в свои мысли, я не заметил, что ко мне обращается какой-то престарелый господин в штатском. Услышав, что он просит закурить, я протянул ему портсигар и чиркнул спичкой. Поблагодарив, он тут же пустился в утомительные разглагольствования – похоже, старик искал повод заговорить, а сигарета была лишь предлогом. Вещи, о которых он принялся рассуждать, мне были абсолютно чужды: культурные традиции Германии, Гёте, Вагнер, Ницше, последний фильм Ленни Рифеншталь. Крайне трудно было поддерживать разговор, поскольку обо всех упомянутых деятелях я имел в голове только самые общие сведения. Когда мне показалось, что старик, обнаружив мои крайне скудные познания, попытался пристыдить меня: дескать, ариец, а не знаешь автора бессмертного «Фауста», – я вспыхнул:

– Не тебе меня учить, папаша! Да, мой отец Фриц Брандт не был каким-то там дворянчиком, он родился простым крестьянином, как дед мой и прадед. Он был неграмотным и про какого-то там Фауста понятия не имел. Но он научил меня более важным для немца вещам: выполнять свой долг, служить обществу и жертвовать жизнью в интересах Отечества. И если кто-то из нас послужил делу возрождения немецкого народа, то это мы – бойцы и труженики, а не вы, испускающие пустые вопли крикуны-чистоплюи.

Старик, сражённый моим напором, смущённо протирал свои очки:

– Вы сказали, фамилия вашего отца Брандт?.. Когда-то давно в Дрездене я знал одного Брандта, он был моим учеником. Если мне не изменяет память, его звали Рихардом. Родители отреклись от него за то, что он переменил веру. Они были набожными католиками и резко осудили парнишку, когда он переметнулся в лютеранство... Замечательные стихи писал этот Рихард Брандт, скажу я вам. У него был настоящий талант. Перед парнем открывалось блестящее литературное будущее, но, увы, война...

Я глубоко затянулся сигаретным дымом: «Так вот, оказывается, какое прегрешение совершил Рихард... Забавно... Бедный отец, что бы он сказал обо мне...»

Внезапно поезд, резко дёрнувшись, остановился. Мы со стариком стукнулись лбами и в замешательстве одновременно проговорили: «Что происходит?»

Я вышел в тамбур. За окном суетились вооружённые до зубов отряды СС. Очевидно, случилось что-то неладное.

В поезд прыгали и расходились по купе автоматчики. Всем пассажирам было велено предъявить документы. Осмотру подверглись и наши багажи. Крайне удивило, что и мне тоже был учинён обыск – обычно, едва взглянув на моё служебное удостоверение, любой военный козырял и извинялся, что побеспокоил. На этот раз что-то было не так. Я не на шутку встревожился. Особенно когда объявили, что поезд дальше не пойдёт. Я кинулся разыскивать телефон на станции.

Когда меня соединили с Альфартом, едва смог возмущённо выдохнуть в трубку:

– Отто, меня не пропускают в город! Что у вас там случилось?

Ответ Альфарта был неожиданно резким:

– Немедленно возвращайся в Аушвиц! – сказал он.

– Я приехал забрать жену.

– Чёрт бы побрал твою жену!

– В чём дело, Отто?

– Передай трубку Вольфу, я распорядюсь, чтоб тебя пропустили.

Я разыскал указанного офицера и дал ему поговорить с Альфартом. Мне была предоставлена машина, на которой я смог последовать в Берлин. Через несколько часов я смог увидеться с моим другом.

Отто, принявший меня на своей квартире, был взбешён и буквально исходил ядовитой слюной. В таком состоянии я не видел его никогда.

– Тут такое творится... такое!..

– Да что у вас стряслось?

– Заговор. Попытка государственного переворота. Гитлера пытались убить.

– Убить?! – в ужасе воскликнул я. – Когда?

– Двадцатого июля. Подложили взрывчатку под стол во время совещания, на котором он выступал.

Я похолодел:

– Он... мёртв?

– Кто, фюрер?.. Конечно нет! Покушение сорвалось.

– Слава богу!

– Да, тут не без providения, – согласился Отто. – Ему чудом удалось выжить. Он ранен, к счастью, не опасно.

– Кто это сделал?

Отто, усмехнувшись, пристально посмотрел мне в глаза:

– А ты спроси у своей жены.

Я почувствовал себя так, будто сквозь меня пропустили электрический заряд.

– Я не понимаю, о чём ты...

– Ну да, конечно, как в том анекдоте – муж узнаёт обо всём последним.

– Отто, умоляю тебя, мне сейчас не до шуток!..

– И мне тоже! – рявкнул он. – Ты знаешь, кто организовал заговор? Не знаешь? Счастливцев! Так вот я тебе скажу – покушение подготовил полковник Штауффенберг с братьями.

С одним из них, Бертольдом, твоя милая жёнушка кувыркалась в постели.

Я не верил своим ушам.

– Штауффенберг был заговорщиком?

– Да, и наиболее активным. Всего же изменников было больше тысячи. Высший офицерский состав.

– Что с ними стало?

– Четверо организаторов расстреляны сразу после покушения. Среди них и полковник Клаус Штауффенберг. Остальных ищут. Кого поймали – допрашивает гестапо. Сейчас по всей стране идут повальные аресты.

– А Бертольд фон Штауффенберг?

– Схвачен. И подвергнут пыткам, если тебя именно это интересует.

– Отто, меня интересует не это...

– Если ты хотел завести разговор о своей жене – забудь! Её песенка спета. Кстати, чтобы ты не распускал сопли, скажу тебе, что она якшалась не только с Бертольдом Штауффенбергом.

– Не думаешь же ты, что она как-то замешана в заговоре?

– А тут и думать нечего, учитывая её близкое знакомство с одним из участников!

– Брось, Отто! Она обычная шлюха. Не делай Люцифера из мелкого беса. Отпусти её.

– Да ты с ума сошёл! – взвизгнул Альфарт. – В кого тебя превратила эта баба! Ты же размазня, тряпка! Её имели все, кому не лень! Ненасытная тварь, кого она только через себя не пропустила! Знаешь, чем она отличается от рядовой проститутки? Той за обслуживание надо платить, а эта даром ноги раздвигает! Противно смотреть, как ты из-за неё унижаешься!

– Отто, я знаю... – устало проговорил я. – Прошу тебя, отпусти её...

Альфарт, не сводя с меня изумлённых глаз, печально покачал головой и после долгого молчания с сочувствием произнёс:

– Бедняга Брандт... как же ты её любишь...

Мне удалось убедить Отто не упоминать имя Гильды в расследовании. В конце концов, следили за ней по частной инициативе, без составления каких-либо официальных донесений. Не было и прямых доказательств её связи с Бертольдом Штауффенбергом и другими участниками заговора. Если не раскручивать эту историю с пристрастием, то единственное, в чём можно упрекнуть мою жену, – это в излишней эксцентричности. Желание постоянно мелькать на публике в сопровождении галантных молодых воздыхателей – это ещё не преступление. Когда я изложил все эти доводы Отто Альфарту, он лишь покрутил пальцем у виска и обозвал меня глупым сентиментальным ослом. И, тем не менее, он ничего не стал предпринимать против Гильды.

После того, как мне удалось поставить запятую в предложении «Казнить нельзя, помиловать» в нужном месте, я отправился на нашу берлинскую квартиру. Я не знал, о чём буду говорить с Гильдой. Мне хотелось её задушить, и в то же время не было никаких сил. Я

чувствовал себя абсолютно выпотрошенным: ни мыслей, ни эмоций. Желание только одно – выспаться. Потом я решаю, что делать дальше.

Гильда была дома. Уронив голову на атласные, до локтя перчатки, она сидела за столом. При моём появлении встала. Под её глазами темнели пятна расплывшейся и засохшей туши. На ней было красное вечернее платье. Я не сказал ей ни слова. Закрывшись в спальне, не раздеваясь, я лёг на диван и моментально уснул.

Все остальные дни прошли в чудовищном напряжении. Меня вызывали к Гиммлеру. Я, подумав, что Отто нарушил обещание, уже приготовился распрощаться с жизнью, но этот вызов никак не был связан с Гильдой. Рейхсфюрер был озабочен ухудшающейся с каждым днём ситуацией на фронте и поинтересовался, что я могу от себя предложить, чтобы изменить её в лучшую сторону. Этот несколько наивный вопрос заставил меня вздрогнуть. Генрих Гиммлер был не из тех, кто задавал риторические вопросы. Сомнений нет, меня прощупывают, проверяют на лояльность режиму. Я не придумал ничего более умного, как гаркнуть во всё горло, что победа будет принадлежать Великой Германии. Рейхсфюрер внимательно посмотрел мне в лицо... и справился о здоровье моей жены. Я на секунду зажмурился, будто меня стегнули кнутом, и чуть слышно проговорил: «Спасибо, она в добром здравии». Рейхсфюрер улыбнулся уголками губ и прощальным жестом отпустил меня. «Хайль Гитлер!» – ответил я и чуть ли не бегом поспешил удалиться из кабинета. У меня не было никаких сомнений, что Гильда побывала и в его объятиях... Теперь понимаю, почему Альфарт проявил такое дружеское участие.

После июльского покушения по стране прокатилась волна массовых чисток. Все, кто имел хоть какое-то отношение к заговору, были схвачены и преданы в руки правосудия. В Народной судебной палате под председательством судьи и прокурора Роланда Фрейслера были устроены показательные процессы. Вердикты судьи не отличались оригинальностью – большинство заговорщиков было приговорено к смертной казни. Члены их семей отправлялись в концентрационные лагеря.

Смертный приговор был вынесен и майору Бертольду Шенку фон Штауффенбергу. Не скажу, что я возликовал, услышав эту новость, – пинать мёртвую собаку было не в моих принципах. Всего лишь хотелось, чтобы в этой грязной истории, которая имела косвенное отношение и ко мне, была поставлена точка. Но Гильда сама подлила масла в затухающий огонь.

Сразу после процесса она кинулась ко мне с такой неистовой страстностью, какой я в ней ни до этого, ни после не видел:

– Я знаю, ты можешь, у тебя есть связи... Помоги ему!

От такой наглости у меня даже дух захватило.

– Да ты просто спятила!

– Я не прошу его спасти, я знаю, это невозможно... – она что-то торопливо сунула мне в руку. – Но умоляю тебя – передай ему ампулу с ядом...

Я, зажав двумя пальцами миниатюрный цилиндрок с цианистым калием, рассмотрел его на свету и тихо засмеялся:

– Прощальный подарок от малышки Гильды... Трогательно. Но ничего не выйдет, детка. Твой дружок умрёт в соответствии с пожеланием, высказанным нашим фюрером. А знаешь, какую смерть для него выбрал фюрер?..

Гильда, закрыв уши, истерически закричала:

– Нет! Не хочу слушать! Замолчи!

– Наш фюрер пожелал, – невозмутимо продолжал я, – чтобы в тюрьме Плётцензее его вместе с другими осуждёнными повесили, проткнув шею, на мясных крюках подобно тушам на бойне.

Грудь Гильды сотрясали бурные рыдания:

– Умоляю, замолчи!

– Постой, дорогая, ты ещё не всё выслушала... Ты не знаешь, как вешают туши на бойне... Предварительно им вспарывают живот и выпускают наружу весь ливер...

Гильда бросилась передо мной на колени:

– Людвиг, клянусь всем, что у меня есть, жизнью своей клянусь... Больше у меня не будет никого, кроме тебя... Я сделаю всё, что ты захочешь... Только, умоляю, передай ему ампулу! Пожалуйста!

Я с ужасом ощущал на своих руках влажные прикосновения её губ. Она впервые в жизни называла меня по имени.

– Я думал, у тебя бешенство матки... А ты, оказывается, умеешь любить...

Отпихнув её от себя, я выскочил за дверь. Вслед мне неслись её отчаянные вопли: «Людвиг!.. Пожалуйста, Людвиг!..»

Казнь состоялась десятого августа 1944 года. Бертольд фон Штауффенберг умирал несколько часов в жутких мучениях. Весь процесс повешения от начала до конца был заснят на киноплёнку, которую впоследствии лично просматривал Адольф Гитлер.

Мне удалось достать копию – в подарок Гильде. Я устроил в нашей спальне нечто вроде домашнего кинозала и заставил её присутствовать на трансляции «фильма». Она, до крови закусив губы, старалась держаться. Я и не подозревал, что в ней столько мужества. Похоже, все свои слёзы Гильда выплакала накануне, и у неё просто не осталось сил для новых страданий. Она точно окаменела. Когда последний кадр со скрежетом и шипением вильнул по экрану зигзагообразным хвостом, я, бросив на Гильду пылливый и торжествующий взгляд, с затаённым содроганием обнаружил, что её роскошные каштановые волосы поседели.

Мы вернулись в Освенцим. Гильда без всякого сопротивления дала себя увезти. В её внезапной покорности было что-то неестественное. Она вела себя так, как вели умалишённые, которых мне однажды довелось подвергнуть спецобработке, – с тупым безразличием, не реагируя ни на какие внешние раздражители. Её бледное, безжизненное лицо напоминало маску. Кажется, даже если бы вдруг начался пожар, она не сдвинулась бы с места. Я всерьёз опасался, что она попытается свести счёты с жизнью. Но Гильда не предпринимала никаких попыток суицида – она была слишком пассивна. Все дни она проводила, лёжа в кровати, повернув голову к стене. Её бессмысленный, немигающий взгляд не выражал никаких проявлений мыслительной и эмоциональной деятельности. Создавалось впечатление, что душа покинула её, осталось лишь одно вялое, безвольное тело.

Поскольку в таком состоянии Гильда пребывала уже несколько недель, я был вынужден прибегнуть к помощи доктора Менгеле. Его прогноз был неутешительным – психологическая травма, полученная Гильдой, была очень серьёзной. Требовалось длительное психиатрическое лечение. Я съёжился – мне и в голову не приходило, что её состояние настолько критично. Думалось, что она упрямится и показывает характер, отказываясь принимать пищу и говорить со мной. Когда доктор спросил, что произошло с моей женой в Берлине, я не знал, что ответить, и лишь отвёл глаза в сторону.

Он начал её лечение. Но ни к каким ощутимым результатам оно не приводило: если раньше моя жена целыми днями лежала, безмолвно уставившись в стену, то теперь спала.

Прошло несколько месяцев, прежде чем она начала вставать. Однако на выздоровление это походило мало. Целыми днями напролёт Гильда слонялась по дому в несвежей ночной сорочке, пестревшей пятнами от пролитого кофе. Она перестала расчёсывать волосы, не мылась неделями. Мне пришлось нанять сиделку, которая ходила за ней, как за младенцем: помогала переодеваться, подбирала с ковров тлеющие окурки, кормила с ложки.

Гильда пристрастилась к антидепрессантам, которые выписывал ей Менгеле, и по несколько раз в день глотала их пригоршнями. У неё вошло в привычку запивать таблетки алкоголем, на который она особенно сильно налегала в последнее время. Раза три ей приходилось промывать желудок из-за отравления. Однажды ночью, заснув с непотушенной сигаретой в руке, она чуть не задохнулась в дыму.

Моё существование благодаря ей превратилось в кошмар. Я не мог сосредоточиться на работе. Был вынужден то и дело звонить домой, чтобы справиться, всё ли там в порядке. Когда раздавался звонок в кабинете, у меня учащался пульс – я боялся брать трубку, опасаясь, что услышу известие о её смерти.

Однажды доктор Менгеле, разглядев в уголках моего рта нервный тик, настоятельно посоветовал мне взять отпуск. Я на несколько дней уехал в Мюнхен. Но все попытки

расслабиться – а по совету доктора я пробовал и кутить, и заводить интрижки – ни к чему не привели. Мне не удалось выбросить Гильду из головы даже на мгновение.

Постоянно сверлящая мысль о ней, вытеснившая все остальные думы, привела к самым негативным последствиям: пока я занимался решением своих семейных проблем, у меня под носом из огромного числа заключённых сформировалась группа сопротивления. В октябре 1944 года, напав на охрану и завладев оружием, мятежникам удалось не только помочь некоторым из своих собратьев бежать из лагеря, но и разрушить один из крематориев. Бросив все силы на подавление бунта, я беспощадно расправился с восставшими. Но даже самые жестокие репрессии не смогли вернуть былую атмосферу липкого, парализующего страха. Узники, приободрённые набегами советских самолётов, которые всё чаще стали прорываться

в воздушное пространство над Освенцимом, обретали ранее забытую, затоптанную надежду на спасение и начинали с остервенением рваться из своих блоков. Мы с трудом удерживали эту многотысячную орду в повиновении. Ежедневно пачками мы расстреливали особо рьяных из этой обезумевшей своры, но никакие угрозы на них больше не действовали. Хищник уже вкусил крови. Недели не проходило, чтобы не совершалось нападение на кого-нибудь из сотрудников лагеря. Я всех призывал соблюдать предельную осторожность, требовал в барак заходить только по несколько человек в полной готовности к бою в любой момент. Но это не помогало. Заключённые со всех сторон набрасывались на эсэсовцев: одни подставляли свои тела под автоматную очередь, другие начинали борьбу и отбирали оружие. Появляться перед толпой дикарей с напрочь отсутствовавшим инстинктом самосохранения, которые моих солдат забрасывали собой, как живыми гранатами, было по-настоящему страшно. И небезопасно. Некоторые из моих коллег поплатились жизнями за собственную беспечность. Так, в начале ноября была зверски убита фрау Кох, или фрау Абажур, как её называли пленные. Собственно, это маленькое невинное хобби её и сгубило. Когда фрау Кох отбирала «подходящий материал» среди партии цыган, на неё и на двух сопровождавших её охранников накинулись, сбили с ног и поглумились самым изуверским образом. Обезображенный, оскальпированный труп надзирательницы с вырезанной ножом на спине свастики удалось отыскать под грудой сваленных, залитых кровью тел только к вечеру следующего дня, после того, как несколькими отрядами автоматчиков был перебит весь корпус.

К концу года вражеские самолёты уже вовсю хозяйничали на нашем небе. Бомбёжки стали едва ли не ежедневными. В декабре, находясь под давлением наступавших со всех сторон советских войск, я получил приказ эвакуировать вглубь страны трудоспособных заключённых лагеря; нами было вывезено в Равенсбрюк более пятидесяти восьми тысяч человек. От остальных мы по возможности постарались избавиться, подорвав часть барачных. Кого не смогли уничтожить, бросили подыхать голодной смертью, предварительно ликвидировав все съестные запасы. Также мы сожгли около тридцати пяти складов с одеждой и обувью, отобранной у пленных. На горящие постройки, в которые вложено столько труда, было больно смотреть – гибло дело всей моей жизни. Я чувствовал себя, как Наполеон, проиграв сражение при Ватерлоо: ещё совсем недавно были власть, сила, влияние – и вот от всего этого не оставалось и следа – только дым и пепел.

Нагрузив весь имевшийся в нашем распоряжении транспорт оборудованием, документацией и вещами, мы двинулись назад в Германию по дорогам, наводнённым грузовиками, которые были до отказа набиты беженцами. После постоянных воздушных обстрелов машины то и дело сходили с дистанции. Фишер настойчиво уговаривал меня сжечь все бумаги, в которых была отражена работа лагеря, и сосредоточиться на спасении личного имущества. Я и слушать об этом не стал – раз был приказ обеспечить сохранность и доставку делопроизводственных материалов, мы обязаны его исполнить. «Когда-нибудь этот конторский мусор нам боком вылезет...» – мрачно изрёк он.

В течение нескольких месяцев мы кочевали от одного населённого пункта к другому. Нам приходилось ненадолго оседать то в маленькой деревушке, то на какой-нибудь станции. Места для временного пристанища были самые скромные: здание школы, амбар, склад,

конюшня. Некоторые из моих подчинённых, воспользовавшись всеобщей неразберихой, начали потихоньку исчезать в неизвестном направлении. Я, чтобы пресечь попытки бегства, объявил их дезертирами и даже собственноручно расстрелял двоих попытавшихся удрать шарфюреров. Но даже такие крутые меры ни к чему не привели – крысы продолжали бежать с тонущего корабля.

В конце марта нас покинул доктор Менгеле. В отличие от многих, он не улизнул под покровом ночи, а пришёл попрощаться. Как всегда, у него был дружеский совет для меня:

– Пока не поздно, Брандт, бросьте всю эту канцелярию и бежим в Швейцарию. Оттуда можно добраться до Латинской Америки.

– Я не могу нарушить приказ, доктор.

– Да не будьте же глупцом! Война проиграна. Не сегодня-завтра мы окажемся в руках русских. Рассчитывать на снисхождение, учитывая то, что мы с вами творили в Освенциме, не приходится.

– Я лишь исполнял то, что мне приказывали.

– Но это не снимает с вас ответственности!

– Какова бы ни была моя участь, я останусь верен своим принципам. Моя честь – это моя верность.

– Вы смешны, Брандт, – отозвался доктор, пожав плечами. – Ну, как знаете... Прощайте!

– Прощайте, доктор.

К концу апреля мы добрались до Берлина. Я не узнал истерзанный, разгромленный город. Глазам предстали руины. К счастью, мой дом не пострадал во время бомбардировок. Я, разместив архив прямо у себя на квартире, предпринял попытку связаться с Альфартом. С огромным трудом мне удалось разыскать его среди разрушенных кварталов. Ещё пару месяцев назад он благополучно переправил семью в Мексику вместе с бесценными полотнами старинных голландских мастеров и саквояжами, полными золотых и бриллиантовых украшений, и перевёл туда основную часть своих финансовых средств. Теперь же, имея в кармане поддельный паспорт, намеревался с кучкой партийных бонз добраться через Баварию до Альп, где их ждал самолёт. Его несказанно удивило моё появление. Он был уверен, что мне удалось успешно скрыться. Я рассказал ему о предложении Менгеле и о моём отказе стать дезертиром. Отто с сожалением покачал головой:

– Зря, может, это была последняя возможность спастись.

– Понятие «долг» для меня – не пустой звук, – упрямо отозвался я.

– Брандт, дружище, забудь об этом! – в сердцах воскликнул Альфарт. – У тебя больше нет командиров. Теперь каждый думает сам за себя.

– Меня этому не учили. Меня учили выполнять приказы.

– В таком случае слушай меня, штурмбанфюрер Брандт. Я приказываю тебе спастись свою шкуру. Ты понял? Выполняй!

Я машинально козырнул, но привычные слова «Хайль Гитлер!» застряли в глотке – впервые за много лет.

Альфарт предложил отправиться вместе с ним.

– Не могу, – помрачнел я. – Мне нужно вернуться за женой.

– Что она тебе далась?! Оставь её! Время идёт на минуты! Ещё чуть-чуть – и мы упустим свой последний шанс!

Я лишь покачал головой.

– Брандт, эта баба испоганила всю твою жизнь! – Альфарт смотрел на меня, как на сумасшедшего. – Клянусь Богом, ты дождёшься, что на твоей шее благодаря ей будет затянута верёвка!

– Не трать на меня драгоценное время, Отто, беги! Я останусь с ней.

– Эта женщина создана тебе на погибель... – пробормотал Альфарт.

Мы крепко обнялись.

Снабдив меня подложными документами, Альфарт простился со мной. Я от всей души пожелал ему удачи.

Пробираясь к дому, я не узнавал дороги: несколько домов подряд были разрушены, приходилось делать огромные круги, чтобы обогнуть груды кирпича и щебня. В любой момент я рисковал нарваться на шальную пулю – шли уличные бои.

На пороге квартиры я лицом к лицу столкнулся с офицером вражеской армии. Я схватился за пистолет. Меня остановил громкий крик моего помощника:

– Не стреляйте, господин штурмбанфюрер!

– Вы чокнулись, Фишер! Зачем вы нацепили русскую форму?

– Другой, увы, нет. Так будет легче выскользнуть из мышеловки. Это всё-таки лучше, чем мундир офицера СС.

– Вас разоблачат на первом же углу. Вы не знаете языка! На что вы рассчитываете?!

– Только бы вырваться за черту города, потом я избавлюсь от этого маскарадного костюма, – Фишер самодовольно ухмыльнулся. – Знать язык мне не нужно – я могу быть контуженым.

– Вижу, вы уже всё за себя решили, – я прошёл мимо него. – В таком случае – скатертью дорога!

В спину мне донеслось:

– Вам бы тоже не мешало позаботиться о себе.

– Не беспокойтесь, Фишер, позабочусь. Бывайте!

Но он снова окликнул меня:

– Господин штурмбанфюрер!

– Ну что ещё?

– У меня за углом машина.

Я быстро взглянул на него:

– Хорошо, я мигом!

Вбежав в квартиру, я принялся заглядывать из комнаты в комнату, ища Гильду. Она не отзывалась на мой зов. Наконец я догадался заглянуть в ванную.

Она сидела на полу, обхватив руками плечи, в одной комбинации. Рядом с ней в бордовой лужице валялась бутылка, разлитое содержимое которой я в первое мгновение принял

за кровь. Я бросился к ней и выволок в коридор:

– Вставай! Что ты расселась? Нам нужно немедленно убираться из города!

Гильда вырвалась.

– Отпусти меня! Я никуда с тобой не поеду!

– Не дури! У нас мало времени. Оденься и собери вещи.

Я быстро поскидывал в рюкзак деньги и кое-что из одежды. Переоделся в старый штатский костюм. И тут меня оглушил звук фортепиано. Я кинулся в гостиную. Гильда как ни в чём не бывало тренькала пальцами по клавишам. Я затряс её за плечи:

– Приди в себя! Русские в городе! Скоро они возьмут его в кольцо – и тогда конец!

Она смотрела на меня плывущим рассеянным взглядом. Я влепил ей пощечину.

– Гильда, очнись! Если мы не уйдём прямо сейчас, мы погибнем!

– Не трогай меня! – оплеуха, похоже, привела её в чувство, в глазах заблестали знакомые злобные огоньки. – Можешь сматываться, куда хочешь, а я останусь здесь!

– У меня есть паспорта для нас обоих, Гильда... Затеряемся среди людей, спрячемся где-нибудь, переждём... Если повезёт, уедем в Мексику – там у меня друзья, нам помогут...

– Нет! – вопила она. – Нет!

– Уедем туда, где нас никто не знает... Начнём всё сначала, с чистого листа!

Гильда фыркнула, как одичавшая кошка:

– Лучше сдохнуть в тюрьме здесь, чем жить там с тобой!..

Она крикнула так громко, что у меня зазвенело в ушах.

– Ты даже не представляешь, до какой степени ты мне противен!.. Я ненавидела тебя всю свою жизнь! Но если бы ты только знал, как я устала от этой ненависти... Когда мы впервые встретились, я была ребёнком: глупым, пустым, избалованным, вздорным ребёнком... Я дурно обошлась с тобой, и ты оплатил мне тем же... Мы причинили друг другу много зла... Но теперь мы квиты... Если в тебе есть хоть что-то человеческое, прошу,

отпусти меня... – из её глаз полились слёзы. – Я так устала жить, Людвиг... так устала... Отпусти меня, пожалуйста...

Передо мной было лицо постаревшей, больной женщины: измождённое, обескровленное, искажённое мукой. Если б я не знал, то никогда бы не поверил, что эти резкие черты на высохшей, восковой коже, потухшие голубые глаза, седые растрёпанные космы могут принадлежать двадцатилетней женщине. Что же с тобой сделала моя жестокость, Гильда!

Я стёр крупную солёную каплю с её щеки. Сняв пистолет с предохранителя, положил его на панель фортепиано. И, с трудом переставляя ноги, вышел из комнаты, затворил за собой дверь.

Через минуту раздался выстрел.

Я не мог себя заставить пойти к ней.

Навстречу мне летел взволнованный Фишер.

– Господин штурмбанфюрер, надо торопиться! Русские в нескольких кварталах от нас!

– Я остаюсь, Фишер. Уезжайте. Извините, что отнял время.

Фишер сунулся в гостиную и выскочил оттуда с перекошенным лицом.

– О, мой бог! Фрау Брандт!

– Я должен её похоронить.

– В этом нет необходимости. Мёртвым уже ничего не нужно, им всё равно.

Я пошёл на него с кулаками.

– Убирайтесь! Дайте мне побыть с моей женой!

– Сумасшедший! – пробормотал Фишер и выбежал из квартиры.

Тяжёлыми, ватными ногами я медленно дошёл до закрытых дверей гостиной. Упёрся в них лбом. Из моих стиснутых зубов силился и не мог прорваться глухой, похожий на рычание стон. Я сполз на пол. Тихонько раскачиваясь, сидел с зажмуренными глазами. Когда я открыл их, в коридоре было по-настоящему темно. Должно быть, наступила ночь. Не найдя в себе сил отворить двери гостиной, я вышел из дома и, шатаясь, пошёл по улице.

Несмотря на лающие звуки пальбы, раздававшейся на угрожающе близком от меня расстоянии, я шёл, не чувствуя абсолютно никакого страха, словно турист, разглядывающий музейные экспонаты. Увидев вырывающиеся языки пламени из окон соседнего дома, я остановился, силясь вспомнить, что за контора располагалась здесь раньше: похоронное бюро? аптека? кафе? Из-за копоти и цементной пыли было очень трудно дышать. Так и не вспомнив названия заведения, я пошёл дальше.

У тротуара чернели обугленные трупы. Засмотревшись на них, я едва не распластался на дороге, поскользнувшись на зловонных склизких внутренностях. Глядя на разбросанные повсюду останки, взглянул на затянутое дымовой завесой небо. Я слышал рык самолётов и ждал, что на мою голову посыплется огненный дождь – спасительное и вождевленное возмездие. Однако самолёты летели мимо и убивали тех, кто хотел спастись.

У обочины я увидел развороченный автомобиль. Из распахнутой двери наполовину вывалился окровавленный человек в гимнастёрке защитного цвета: его ноги находились в машине, а руками и головой он упирался в асфальт. Часы на левом запястье убитого мне показались знакомыми. Это был Фишер. Я испытал прилив жалости – бедняга, если б я не задержал его, возможно, ему удалось бы спастись.

Почувствовав шорох за спиной, я по инерции сунул руку в кобуру – пуста! Потянулся к оружию Фишера, но не успел его взять. В спину мне упёрлось автоматное дуло. Услышав резкий окрик на незнакомом языке, я поднял руки. А дальше был резкий удар прикладом в затылок – и земля передо мной точно расступилась. Я начал падать в тускнеющую с каждым мгновением и превращающуюся во мрак пустоту.

Очнулся уже в тюрьме. Едва открыл глаза, меня сразу же начали допрашивать. Я ответил на все заданные вопросы: честно, не пытаясь увильнуть и преуменьшить тяжесть деяний. Скрывать мне было нечего. Я был лишь солдат, выполнявший свой долг. Приказы отдавал не я. За меня принимали решения другие, я только повиновался.

Мне задавали странные вопросы: осознаю ли я, насколько бесчеловечными были мои поступки? что я испытывал, когда уничтожал целые народы? чувствую ли я угрызения



совести? Я криво усмехнулся: и эти наивные вопросы задавал военный. Когда есть устав, согласно которому я обязан выполнять все распоряжения моих командиров, о каких внутренних сомнениях и рассуждениях может идти речь?

Дальше и вовсе шла нелепица: не жалко ли мне было убивать невинных, беспомощных детей? неужели за всё время совершения чудовищных злодеяний моё сердце так ни разу и не дрогнуло? Офицер, несущий всю эту чушь, постепенно начинал выводить меня из себя. «Грош цена бы мне была как военному, если бы я стал вести себя подобным образом», – силясь подавить раздражение, ответил я, а про себя подумал: дослужился до полковничьих звёзд, а что такое воинский устав – не знаешь! И как таким, как вы, ещё удалось войну выиграть?!

В 1946 году я сел на скамью подсудимых в Нюрнберге. Рядом со мной находились многие известные государственные деятели Третьего рейха, но ни Альфарта, ни доктора Менгеле среди них не было. Значит, им удалось скрыться. Я искренне порадовался за своих товарищей. Среди обвиняемых отсутствовал также и мой патрон. Во время одного из заседаний я был оглушён известием, что, не дожидаясь суда, Генрих Гиммлер покончил с собой. Таким образом, он предоставил нам, рядовым исполнителям, расхлёбывать заваренную им кашу. Такого малодушия я от него никак не ожидал. Я считал его великим человеком. Исходящая от него сверхъестественная аура могущества делала его почти Богом. И вот под занавес я с разочарованием был вынужден узнать, что никакого Бога не было, а был жалкий, боящийся наказания смертный. Я почувствовал себя преданным. Всех подсудимых снабдили наушниками, чтобы мы могли слышать, как бесконечно длинная вереница свидетелей называет нас циничными подонками и палачами. Но благоразумный рейхсфюрер ничего этого, разумеется, не слышал.

На Нюрнбергском процессе я получил последний плевок в лицо и от Гильды. В одном из выступавших свидетелей, который обвинял меня с трибуны в геноциде, я узнал сбежавшего из Освенцима «садовника». Русский, сыпавший оскорблениями и проклятиями в мой адрес, упомянул и о моей «несчастной жене» – «достойной и порядочной женщине», которая, рискуя жизнью, спасла от гибели двадцать девять узников лагеря. Я непроизвольно стиснул кулаки – двадцать девять отборных гренадеров. Эта стерва не мелочилась в своём гуманизме!

После дачи показаний в Нюрнберге я был передан полякам, считавшим, что я несу персональную ответственность перед польским народом за устроенную моими руками на их земле фабрику смерти. Варшавский суд приговорил меня за уничтожение двух с половиной миллионов человек к смертной казни. Другого приговора я и не ждал. Скорая смерть не страшила, слишком уж часто мне приходилось сталкиваться с ней лицом к лицу. Меня даже порадовало, что способ, который поляки выбрали, чтобы расправиться со мной, был слишком мягким: затянутая верёвка на шее, перелом позвонков при падении с высоты, пара секунд удушья – и вечность. Полностью устраивало и то, что мой труп намеревались сжечь, а прах – развеять по ветру. Всё лучше, чем, к примеру, позорная участь итальянского дуче, которого кровожадная толпа повесила вниз головой под свист и улюлюканье. Единственное, против чего бы я возразил, – это место будущей казни. По решению суда виселица должна была быть установлена в Освенциме, напротив одного из крематориев. Возвращаться туда не хотелось. Я боялся разворошить уснувшую память. О ней.

Когда конвоиры повели меня в последний путь, я чувствовал себя на редкость спокойным и собранным. Слава богу, скоро всё это кончится! Кровь, пропитавшая землю под ногами, стоны, которые я исторг, были мне безразличны. Что для меня страдания всех этих жертв! Не о них я думал на пороге предсмертной тьмы. Как бы ни была страшна участь этих двух с половиной миллионов, это была всего лишь цифра, не имеющая ни лиц, ни имён: двойка, пятёрка и пять нулей. Я не знал никого, кто скрывался за этими числами. Ни одной живой души.

Единственное, о чём я сожалел, поднимаясь по ступенькам эшафота, – это о том, что никогда не видел твоей счастливой улыбки... Любимая.